Яков Шехтер

ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ

Повести. Рассказы

Тель-Авив Изд. Библиотека М. Черного

ШАХМАТНЫЕ ПРОДЕЛКИ БИСКВИТНЫХ ЗАЙЦЕВ

Лев Каплан проснулся в полночь от крика петуха. Не раскрывая глаз, он видел янтарный, нервно подрагивающий клюв, медные перья, гребень, набухший алой кровью. Петух закидывал назад голову и, раздувая горло, выхаркивал прямо в лицо:

– По-ра! По-ра! По-ра!

Речь шла не о чем ином, как о жизни, единственной, драгоценной и неповторимой жизни Льва Каплана, которая, по мнению нахальной птицы, подошла к концу.

Конечно, к реальности всё это никакого отношения не имело.

«Последнего живого петуха видели в центре Тель-Авива лет двадцать назад, – подумал Лев, переворачиваясь на другой бок. – С тех пор они появляются в этом районе исключительно в свежемороженом виде».

Часы в гостиной пробили двенадцать. Глубоко и протяжно, словно возвещая о спасении и приюте, они доверху заполнили тишину ночи. Так звонит колокол на башне в снежную бурю, последняя надежда заблудившихся путников. Подрагивают квадратики стекол в частой раме, заросшей многодневной наледью; гул проникает в жарко натопленный зал, шарахается от огня, воющего в камине, обволакивает увитые паутиной своды, вырывается в коридор и дальше неслышным промельком заячьих лап по желтым, вытертым ступеням, сквозь холл с каменным полом в черно-белую клетку, туда – на открытое, свободное от гнета стен пространство, где вольно и весело раздувает до треска сосудов свои легкие оранжево-черный петух.

– Уф-ф, – он лег на спину и несколько раз вздохнул, пытаясь выдуть, вытолкнуть из себя кошмар, незваное, дурное сновидение.

«А даже если так, – подумал он, – когда-нибудь это должно произойти. Не знает человек своего часа, ни дня, ни минуты, ни обстоятельств времени и места, ни действующих лиц. Отмерено и взвешено и от нас не зависит, хоть колени сотри, вымаливая отсрочку. Вот в эту безликую неумолимость я верю полной верой. О чем же грустить: пора так пора».

Он полежал еще минуту, подбадривая, успокаивая себя мыслями о конце всего сущего, неизбежном и непременном, как возвращение зимы, смена цвета листьев, чередование дня и ночи.

Мысли разной свежести и глубины, накопленные памятью за долгую жизнь, проносились пенящимся облаком бабочек-однодневок.

Неужели придется оставить любимое, с трудом вырванное, собранное и притертое каторжной работой пальцев и души, муками разума? И куда теперь, да и будет ли вообще – теперь, завтра, послезавтра – и он сам, размышляющий так уютно под стук маятника, что будет с ним, и почему сейчас, ведь всего-то шестьдесят пять, и не старик вовсе, хотя бы еще пятнадцать, ладно, десять, ведь живут люди до восьмидесяти, запросто, сколько их, бодрых, с палочкой или газетой под мышкой собирается по утрам в скверике, даже пять, пусть три, год, еще сколько-нибудь, но не сейчас, прошу, не сейчас!

Уф, какая чушь. Откуда-то из пещер позвоночника выкатил инстинкт, слепая, животная сила и, словно в отместку за годы ссылки и забвения, принялась утюжить властелина – разум Льва Каплана.

– Ага, боишься, боишься, – с подленькой усмешкой раба, ставшего господином, – дрожи, трепещи перед неведомым и страшным, откуда не позвонить, не прислать телеграммы, не выбраться в отпуск. Ты отталкиваешь, отодвигаешь его в сторону, делая вид, будто всё трын-трава и сухой подорожник, а оно не где-нибудь там, в еще неизвестно когда и почему, а здесь и сейчас, в тебе самом, по самой простой и потому безжалостной причине, именуемой – пора.

Он сел на кровати и с неожиданным удовольствием потер ступни о тугой ворс ковра. Луна светила сквозь приспущенные жалюзи, продольные полоски света лежали на красном ромбе одеяла, отражались в зеркальной поверхности шкафа, сияли в пузырьках и баночках трюмо.

– Е-рун-да, – со вкусом прошептал Лев.

Вид знакомых вещей, обтроганных и засмотренных до рассеянного скольжения, успокоил его. Он еще раз потер пятки о ковер и опрокинулся обратно на патентованно-упругую спину матраса.

Красные цифры электрических часов горели в темноте, будто глаза сидящего в засаде волка.

– Завтра же пойду и куплю с зелеными, – твердо пообещал себе Лев, вспомнил, в который раз дает такое обещание, и улыбнулся.

Утро – это как другое время года, другое здоровье, другие оторопь и поспешность. Одеваясь, он превращается в иного человека, словно в одежде содержится отдельный, самостоятельный смысл. Через три часа зазвонит будильник, вернее, не успеет зазвонить, по привычке он откроет глаза за минуту до установленного срока и отработанным движением передвинет рычажок. И покатится день с утренним кофе, правда, уже без кофеина, с упругим взревом мотора и дорогой – считаные-пересчитаные светофоры, стоянка (только для преподавателей), прохладный холл университета с полированным полом в черно-белую клетку. Завертится, поплывет, понесется день, окутанный ближневосточным солнцем и расчерченный на равные дольки ежечасным прослушиванием новостей.

«Я еще здесь, – подумал Лев, – вот теплое плечо жены, с едва заметным ароматом духов, гладкая, прохладная ткань подушки, темная рамка на прикроватной тумбочке. Если зажечь свет, в ней улыбается Лика с мужем и сыном, его внуком, игривым, забавным человечком. Длинная жизнь, столько всего было в ней, да ушло, стаяло, припорошенное крупной солью беспамятства. Но и того, что осталось, того, что и сейчас с ним, стоит лишь взглянуть назад, вдоль сбегающей вниз и влево череды лет, достаточно для любви, печали и усталости...»

Жизнь представала расчерченной на недели страницами школьного дневника. Слева – понедельник, вторник, среда; справа – четверг, пятница, суббота, а вместо воскресенья – место для подписи родителей. Месяцы тянулись, как вереница пузатых бочонков на выезде с пивзавода неподалеку от двора его детства. Взгляд медленно перетекал от красной с желтыми прожилками дешевых фруктов осени, через ведра с углем, стоны и потрескивание огня за раскаленной железной дверкой, к томящему после четырехмесячной стерильности запаху талой воды, а от него к звону стаканов в купе скорого поезда, бегущего к теплому югу, на бабушкину дачу у самого синего моря.

Десятилетия напоминали лестничные пролеты: где-то там, далеко внизу – пятидесятые, первый медицинский, Тося в крепдешиновом платье, и он рядом с ней в белой сорочке с украинской вышивкой у ворота. Нет, кажется, их носили позже, в начале шестидесятых; впрочем, какая теперь разница. В шестьдесят пятом он защитился, красиво, эффектно, о психологии тогда только начинали говорить всерьез, а он уже защитился, с банкетом в «Праге», поздравлениями через «Медицинскую газету». Где-то в начале этого пролета родилась Лика, он толком не успел заметить, много работал, по вечерам писал диссертацию. Она прибегала в комнату, кукольное создание с блестящими, как у мышки, глазами, прижималась щекой к его ноге и верещала:

– Папа, уцьки, хочу уцьки.

Лев брал ее на руки и, раскачиваясь, читал вслух со страницы, от которой она его оторвала. Лика угревалась, начинала тихонько урчать, словно большой котенок, а потом засыпала, свесив ножки в сандаликах со смятыми задниками.

Если б не запись в паспорте, быть ему завкафедрой, профессором, с командировками в «братские», а иногда и не очень страны, но помимо становой, неизбывной проблемы его анкеты, требовалось подписывать, когда просили, и диагностировать по высочайшему указанию. Сначала он отказывался, а потом и предлагать перестали, а еще потом, в конце семидесятых, его со смаком прокатили на защите докторской, и когда он бросился доказывать и объяснять, тихо и почти ласково напомнили, кто он, откуда пришел и как не оправдал, когда попросили...

В Израиле поначалу тоже было непросто, но постепенно признали диссертацию, выиграл конкурс на заведующего отделением, печатался, потом стал преподавать.

Лика закончила университет, вышла замуж. Лев не хотел ни этой специальности, ни этого мужа, не хотел и боялся, но она уже не слушалась. Впрочем, когда она слушалась, даже «на уцьки» он сдавался после первого предупредительного воя. Теперь Лика физик, неутомимый охотник за упрямыми атомами. Погоня – прилипчивая, неотвязная страсть. Наверное, она подхватила ее от мужа, офицера спецгруппы по борьбе с террором.

Он с благодарностью прижался губами к плечу жены. «Ты у меня одна, заветная... Это всё ты – и дом, и Лика, и внук, и работа, – всё благодаря тебе...»

Треск дождя, сухой и внезапный, как радиопомехи, наполнил комнату. За окном вспыхнуло, густо прогремел гром. Тося дернулась и мягко привалилась к нему. Он вдруг подумал о Б-ге, не о придирчивом чиновнике, дотошно подсчитывающем каждое исполненное приказание, а о милосердном и всепрощающем Б-ге, похожем на Деда Мороза, с красным мешком подарков и доброй улыбкой на усталом лице. Не в молельном доме его место, где, раскачиваясь, потеют в черных лапсердаках неистовые бородачи, а в прикосновении любимой женщины, в хорошо сделанной работе, достойно воспитанных детях, в добром имени, которое оставляет за собой человек.

Он никого не убивал, почти не обманывал, не крал, не соблазнял чужих жен. Даже с этой, формальной, стороны прожитая им жизнь чиста, как перебродившее, хорошо отстоявшееся вино.

«Пора» – беспощадное, унизительное слово. Есть в нем от посвиста кнута над склоненными спинами рабов, от последнего, язвительного блеска топора.

Лев Каплан закрыл глаза. Жизнь простиралась перед ним, уходила назад, убегала в стороны – знакомое, обжитое, прирученное пространство. Сейчас он заснет, а утром всё продолжится так же, как и вчера, как неделю назад, начнется опять и сначала, продлится много дней, недель, месяцев, не хуже, чем вчера, лишь бы не хуже, чем вчера...

А сон приснился дурацкий, обидный и бессмысленный. Он сидел на горе раскаленных углей, кожа трещала и дымилась, было безумно, невыносимо жарко. Он пытался встать, но зад и ноги приклеились, припеклись к углям. Обильно проступавший пот тут же закипал, словно слюна на утюге; крики о помощи, мольбы о пощаде, вырываясь из раскаленного рта, превращались в облачка смрадного дыма. Это длилось долго, бесконечно долго, годы, века, тысячелетия, и вдруг кончилось. Невидимые руки подхватили его, многострадальная задница, теряя куски кожи с прикипевшими угольками, взмыла вверх, и через секунды он оказался в пышном, ослепительно холодном сугробе. Увитый струйками пара, Лев медленно оседал, протаивая всё ниже и ниже. Невыносимо, невыразимо, невероятно, сладостно и упоительно, несомненно и достоверно, непреложно и ясно, любимо и желанно, грозно и могущественно, ускользающе и мимолетно – и вот уже холод стягивает члены, каменеют пальцы, хрустят, отвердевая, уши. И это пройдет, он знает наверняка, скоро те же руки вырвут его из глубины ледяной могилы и снова усадят на пылающую кучу. С трудом сгибая ладони, он набирает полные пригоршни снега и прячет под мышками, чтобы там, на углях, выиграть еще секунду, еще мгновение прохлады.

– Вор, – гремит невидимый голос, – даже здесь ты всё еще вор!

Лев проснулся. Пижама взмокла от пота, лицо горело, словно взаправду обожженное беспощадным жаром. Левая рука, забытая поверх одеяла, окоченела. Он приподнял ее, пытаясь остудить лоб прикосновением ладони, и закричал от боли. Сердце рвалось и трепетало, все его части, будто рассорившись друг с другом, зажили своей, отдельной жизнью. Внезапно грянувший хаос был настолько нелеп и несправедлив, настолько не совпадал со всеобщей гармонией и целостностью мира, что Лев попросту отказывался принимать участие в этом балагане, управлять сошедшим с рельс и несущимся по черной степи поездом.

Он видел, как Тося с искаженным лицом что-то кричала в телефонную трубку, как осторожно укладывали на носилки его тело, как весело, словно на новогодней елке, перемигивались огоньки приборов под приглушенный вой сирены. Льва это уже не интересовало. Жестяный звук отдельно падающих капель слился наконец в благодатный шум ливня, смысл вылущивался из любой мысли или предмета, удостоенных его взгляда. Тайны кончились, мир лежал перед ним розовый и обнаженный, будто младенец перед пеленанием.

* * *

Во второй раз Тося забеременела, когда Лике исполнился год. Хлопоты с еще одним ребенком в самом разгаре работы над диссертацией, снова пеленки через кухню, писк до утра, ежедневные ванночки с чабрецом, – в общем, Лев настоял на аборте.

Тося плакала по ночам, но он делал вид, что не слышит. К назначенному дню она уложила вещи в хозяйственную сумку и покорно отправилась в больницу.

Абортарий занимал старый дом из красного кирпича со стертыми от времени кромками. Дальше приемной Льва не пустили, нянечка в застиранном халате, неодобрительно покачивая головой, прошипела:

– Иди, иди, нечего пальто по лавкам отирать. Завтра получишь, что останется.

Внутренний двор абортария отделяла от улицы стена из такого же крошащегося кирпича. В народе ее называли «стеной плача».

Проржавевшие ворота были всегда заперты, но через щели между неплотно прилегающими створками можно было разглядеть кусочек асфальта и ствол старой сосны, верхушка которой покачивалась высоко над забором.

На следующий день Лев пришел за час до выписки. Ворота оказались незапертыми, он приоткрыл створку и заглянул внутрь.

Несколько скамеек в язвах облупившейся краски, мутные окна с белыми занавесками на шпагатах. Толстая кошка выскочила из мусорного бака, не торопясь, перебежала двор и, устроившись под сосной, принялась за еду. Он шагнул к ней, не веря собственным глазам. Кошка подняла голову и зарычала. Лев обмер. Порыв ветра впился в крону сосны, рыжие хвоинки, как сгустки запекшейся крови, посыпались на его голову. Он стоял, боясь шелохнуться, не в силах вздохнуть, без мыслей, без крика, без дыхания...

Тосю выпустили только под вечер, бледную, с розовыми трещинками заеды в уголках искусанных губ.

– Это были близнецы. Два мальчика. Два твоих сына.

Он молчал. За спиной, ворочаясь, словно больное животное, медленно умирал закат.

Прямо из «неотложки» его повезли на «центур». Санитар с решительным загривком быстро тащил коляску, пакет с внутривенной инфузией раскачивался на капельнице в такт перестуку колес. Тося бежала за коляской, стараясь наступать только на белые плиты, суеверно оставляя черные в стороне.

– Мама, не трясись, как заячий хвост, – Лика подхватила ее под руку. – Вот увидишь, всё обойдется. Через неделю получишь его обратно, даже лучше, чем был.

Жениться нужно на сироте. Некому поучать и вмешиваться, некуда убегать в случае размолвки. Эту нехитрую житейскую мудрость Лев принял буквально. Тося ему сразу понравилась, ореол нот и высоких имен создавал вокруг студентки консерватории удивительную атмосферу причастности и понимания. После третьей встречи выяснилось, что прогулки пешком она обожает по весьма прозаической причине – воспитанница детдома Тося жила только на стипендию. Внешность у нее была восточной: бархатистая кожа, чуть обметанная нежным темным пушком, синеватые белки глаз, зрачки цвета густого какао, вьющиеся без бигуди волосы.

Но в паспорте Тося значилась русской, так записывали всех детдомовцев. Тогда его это не взволновало, а через тридцать лет, уже подумывая об отъезде, Лев отыскал Тосин детдом и за мизерную сумму выяснил все подробности. Тося оказалась армянкой, ее родителей, партийцев высокого ранга, репрессировали, а годовалую девочку выслали из Армении в незаметный городок центра России. За чуть менее символическую сумму Лев получил

справку о еврейском происхождении своей жены. Он мог сделать ее испанкой, полинезийкой, марсианкой – завдетдомом, отставной майор и хронический пьяница, подписал бы любую бумажку.

– Жидовка-то тебе зачем? – удивился майор, красноречиво потирая шею.

– В хозяйстве пригодится, – хохотнул Лев, многозначительно поигрывая бумажником.

– В каком таком хозяйстве?

– В народном, – Лев перегнулся через стол и доверительно посмотрел прямо в глаза собеседнику. – В нашем народном хозяйстве.

Сторублевка словно невзначай выскользнула из бумажника и, сладко хрустнув, улеглась рядом со справкой.

– Так бы и говорил, что в народном, – немедленно согласился майор, роняя на сторублевку измятую пачку «Беломора».

В наше канцелярское время хорошая справка – половина пророчества. Пред гражданином, осиянным трепетом ее прохладных крыл, бюрократические препоны расступаются, словно Красное море перед колоннами беспаспортных беглецов.

Подробности волокиты и приемы стяжательства Лев изучил на собственном опыте. В детстве он немало настрадался из-за фамилии и сразу после совершеннолетия решил сменить ее на более удобоваримую. Речь шла о замене всего одной буквы и, после всеподданнейших челобитных, впрочем, столь же бесполезных, как и громкие скандалы, он попросту сунул в стол паспортистки скромненький синий конвертик. Эта маленькая операция, прошедшая совершенно незаметно для большей части человечества, превратила его из жирного, предназначенного для убоя каплуна в родственника бесстрашной террористки.

Весть о своем еврейском происхождении Тося приняла почти равнодушно.

– Я всегда знала, что не русская, – сказала она, рассматривая справку, – только думала – грузинка или армянка.

– Где ты и где Армения?! – забеспокоился Лев. – Ваш эшелон разбомбили, а тебя машинисты сдали на первой же станции в отделение милиции.

Вралось не очень складно, но Тося не стала выяснять подробности.

– Еврейка так еврейка, – сказала она, пряча справку в письменный стол. – У Ликочки в Израиле будет меньше проблем.

Но проблем в Израиле оказалось достаточно. Не успели пережить хлопоты устройства на работу и покупки квартиры, как началась война, после войны – инфляция, после инфляции – новая война. Неожиданно выросла Лика и так же неожиданно ушла в армию. Ее отправили на ливанскую границу, в радиоразведку. Целыми неделями она подслушивала телефонные разговоры инструкторов «Хизболлы». Инструкторы не стеснялись и крыли матом так, что понять их не родившемуся в России человеку было совершенно невозможно.

Два раза в месяц Лику отпускали домой. Она приезжала бледная, с потухшими глазами, и сразу бросалась в душ. После ванной спала полдня, а потом смотрела телевизор, всё подряд, без разбору.

– Ей нужно выровнять дисбаланс, – объяснял Лев испуганной жене, – две недели она только слушала, а теперь организм берет свое – только смотрит.

Лика криво улыбалась.

– Ты, как всегда, прав, папа, – говорила она. – Ты всё очень психологически объясняешь. Объясни теперь маме, почему не нужно беспокоиться, когда меня нет дома.

Она уходила к однокласснице, грустной марокканке Симхе, и возвращалась перед самым отъездом, надеть форму. Маме перепадал вялый поцелуй, а папе – еще более вялое помахивание кистью руки.

– Пока, зайцы, – иногда снисходила Лика. – Не скучайте тут без меня.

Но чаще всего она уходила молча, оставляя за собой дурманящий запах самодельных сигарет.

– Проблемы единственного ребенка, – объяснял Лев.

Тося уходила на кухню и затевала яблочный пирог, любимый десерт мужа. Пирог выходил очень сладким, Тося сыпала много сахару, чтобы перебить соленый вкус слез.

...Он вдруг увидел двух своих сыновей, двух маленьких черноволосых мальчиков. Они шли к нему, поддерживая друг друга, но первый слегка упирался, словно стесняясь чего-то. Лев присмотрелся. На его ручонке не хватало кисти.

Он закричал от ужаса и стыда, закричал так отчаянно и безнадежно, что очнулся от собственного крика.

– Сейчас, Левушка, сейчас, – Тося гладила одеяло на постели, – еще чуть-чуть, и лекарство начнет действовать.

Глупая, уже ничего не начнется в его жизни, пора, пришла пора, когда смолкает серебряный голос ручья, и жернова перестают вращаться, и весь этот чудесный, неповторимый мир, взмахнув крылом, скрывается за поворотом. Еще шуршат листья, трещат спицы, но костер затихает, дрожь темноты скользит по муару углей, чаще, еще чаще, еще чаще...

Лика побежала за врачом. Голос Тоси накатывал и отступал, словно волна, словно бой часов, словно замирающий, сходящий на нет стук его сердца. Он столько хотел сказать ей, сейчас, в эту последнюю минуту, но сил хватало лишь на пузырящийся хрип.

Жизнь вытекала вместе с дыханием, прерывистыми, нервными толчками.

– Прости, – ему наконец удалось собрать главное слово, – прости...

Вошел врач. Его лицо сияло. В правой руке он держал короткий, остро наточенный меч. Тысячи зайчиков сорвались с искрящегося лезвия и заметались по палате.

От ужаса перехватило горло, холодный густой пот обметал губы. Врач приближался, подступал медленно и плавно, с каким-то неумолимым, нечеловеческим равнодушием. Остановить, задержать его еще на минуту, на долгую, бесконечную минуту дыхания, света, Тосиного лица. И ничего не жаль, всё добытое и схваченное меркнет перед сиянием этой единственной, последней минуты.

– Отдайте всё, – взмолился, вскричал Лев, сжимая Тосину руку, – отдайте всё...

Зеленая капля желчи сорвалась с лезвия, прожгла зубы, покатилась сквозь язык, сквозь гортань. Вонзилась в сердце.

Последняя баррикада регулярных войск взлетела на воздух, и мятежники хлынули в узкий проход под башней. Сразу за воротами их братство распадалось. Цель была достигнута, и теперь каждый возвращался к своему дому, откуда его вырвал и заключил в темницу приказ Царя.

Главарь уходил последним. Выйдя за ворота, он обернулся и, не целясь, всадил пулю в самую середину башенных часов.

Башня загудела, как рояль под финальным аккордом. Эхо заметалось между стен, застонало, забилось в поисках выхода.

Башня еще дрожала, наполненная звуком до самых верхних, выбеленных солнцем камней, а эхо уже вырвалось, выскользнуло из-под тяжести сводов и растворилось, свободное, в холодном вечереющем небе.

Лев Каплун умер.

Но врачи продолжали терзать его беззащитное тело. Били током, давили изо всех сил на грудную клетку; подключив к аппетитно чмокающему цилиндру, гнали застывающую кровь через обрывки сердца. Лев смотрел на них с удивлением. Он был мертв, мертв навсегда и безвозвратно, но эта простая истина ускользала от врачей, занятых бесполезными хлопотами. Тося в коридоре уже всё поняла и плакала, безуспешно пытаясь вытереть слезы мокрым платком.

– Лика, дай маме свой, – сказал Лев, – ведь у тебя их два, один в кармане брюк, а другой в сумочке.

Но Лика не слышала.

– Видишь, – успокаивала она мать, – пришел завотделением. Наверное, будут делать операцию на открытом сердце. Нашему соседу сделали такую больше года назад. Сейчас он как новенький, бегает по утрам вокруг дома, ходит в бассейн.

Завотделением вышел из палаты. Медсестра кивком головы указала на Тосю и Лику. Он постарался изобразить скорбь на аккуратно выбритом лице и не спеша двинулся к родственникам умершего. Актер из него был никудышный – крупные губы лоснились после недавно выпитого кофе, а в глазах, оглядывающих фигуру Лики, вспыхивали искры, совсем уж неподобающие существу момента. Завотделением заговорил, разводя руками и сочувственно качая головой, но Лев не стал слушать. Он вернулся к своему телу, прикрытому простыней в желтых пятнах от пролитых лекарств.

Это было удивительно и страшно, он входил внутрь, вновь и вновь ощущая тяжесть непослушных рук и возвращался, рассматривая себя с разных сторон. Вот родинка под лопаткой, наконец он увидел ее, коричневые бугорки бородавок на темени, прямой, начинающий костенеть нос.

В коридоре появился зять, как всегда, в мятой, перепачканной форме. Кристаллики песка посверкивали даже в его жестких, иссиня-черных усах.

«Неужели он гоняется за террористами все двадцать четыре часа в сутки? – подумал Лев с привычным раздражением. – Для такого редкого и торжественного события, как смерть тестя, мог бы потратить десять минут на переодевание!»

На плечах Ихьи тускло краснели два «фалафеля»*.

«Уже подполковник, – сообразил Лев. – А ничего не сообщили».

Обида и раздражение захлестнули его с головой. Останься в живых, он бы сейчас хорошенечко хлопнул дверью или уронил на пол тарелку с горячим супом. Увы, знакомые способы сорвать напряжение остались в той, прежней жизни. Он выскочил в коридор, вихрем промчался по отделению, с размаху влетел в свое тело, вылетел обратно. Тщетно. Даже самая тончайшая пылинка, плывущая по палате в легком токе сквозняка, не изменила направления полета. Обида жгла сердце Льва, словно раскаленные угли, и он ничего не мог с этим поделать.

Электронная секретарша записала всего одно сообщение. Озабоченный голос декана интересовался, почему профессор не явился на лекцию. Лика нажала кнопку перемотки пленки, и машинка зашелестела в обратную сторону, вытирая последнюю производственную проблему Льва Каплана. Тося сидела на диване и тихонько раскачивалась. Слезы уже кончились, но сидеть просто так, будто ничего не произошло, было немыслимо, невозможно.

Она боялась расшевелить их неловким движением и поэтому раскачивалась осторожно, словно боясь потерять равновесие. Цветы на столе то заслоняли женщину в освещенном окне напротив, то вновь открывали. Женщина стелила скатерть, расставляла тарелки,

поправляла волосы перед невидимым зеркалом. Наверное, она ждала мужа или любимого человека, и зависть к ее простым заботам вдруг заворочала Тосю в глухом поминальном вое.

– Мамочка, мама, – Лика обняла ее за плечи, прижалась, – мамочка, мамуля, мамочка.

Они раскачивались вместе, и каждое движение, каждый нырок туда, в неизвестное будущее, и возвращение, с легким ударом спины о пружинящую мякоть дивана, вытесняли небольшую частицу боли.

– Он всё время ждал, когда ты приедешь, старался вечерами быть дома, звонил с работы, спрашивал, может, приехала, может, позвонила. Приносил из магазина сладости, твое любимое печенье – вдруг появишься неожиданно. Печенье засыхало, он приносил новое, и оно засыхало, а ты всё не приезжала и не приезжала, а теперь уже поздно, хоть всю квартиру засыпь печеньем...

Женщина в окне еще раз поглядела в зеркало и вышла из комнаты. Они вернулись вместе, он говорил, энергично разводя руками, а она кивала, не отводя глаз, словно то, что он рассказывал, было необычайно, жизненно важным не только для нее, но и для всего человечества.

– Мама, помнишь коробку с венгерским печеньем, ту, что исчезла сразу после моих именин?

Лев уселся в кресло напротив дивана. В доме ничего не изменилось, даже хвостик от яблока, оброненный вчера на ковер, сиротливо лежал на своем месте.

– Круглая красная коробка с выдавленными фигурками зайцев, каждая печенинка завернута в цветную бумагу. Твой подарок на день рождения. Неужели не помнишь?

Женщина в окне обернулась и, бросив испуганный взгляд в темноту за стеклом, быстрым движением задернула штору.

– Я искала в его столе чистую бумагу, нижний ящик оказался незапертым. Коробку он выкинул, но несколько бумажек с прилипшими крошками завалились между папок. С тех пор я не ем печенье, которое он покупает.

– Как ты можешь говорить о таком, – возмутилась Тося. – Здесь, сейчас... Когда он лежит там, в темноте, один-одинешенек.

Лев оглядел свое тело, стынущее во мраке холодильника и, преодолев отвращение, проник внутрь. Там было холодно и страшно. Голова уперлась в шляпку болта, совершенно некстати выпиравшую из стены, Лев попытался двинуть головой, но не смог.

Тело отделилось от него, в нем происходила своя, непонятная жизнь. Что-то шевелилось в желудке, источая едва заметное тепло. Он прислушался и с ужасом понял.

Лика принесла чашку с водой и поставила перед Тосей.

– Мама, ты должна пить.

Тося отрицательно покачала головой.

Разноцветные дети на чашке играли в мяч. Краска уже начала облупляться, и мяч стал похожим на вырванное из груди и подброшенное высоко в воздух голубое сердце.

– А где Ронен? Кто заберет его из садика?

– Я попросила соседку.

Тося удивленно посмотрела на Лику.

– Почему не Ихья?

– Почему...

Лика взяла чашку и одним глотком осушила ее до половины.

– Безжалостные, жестокие дети. Мы сменили уже два садика, и везде одно и то же.

Тося перестала раскачиваться.

– У них чутье, как у немецких овчарок. Ихья даже близко туда не подходит, Ронена я сама увожу и привожу, а они уже на второй день начинают: «араб, араб».

– Но ведь он в самом деле араб, – сказала Тося.

– Мама, сколько раз можно объяснять – он бедуин, понимаешь, не араб, а бедуин. Это разные народы, совсем разные, как грузины и армяне.

– Лика, – Тося посмотрела на дочь. – Я давно хотела тебе рассказать. Пока был жив отец...

Но Лика не слушала.

– Расисты и законы придумали расистские, нигде в мире нет таких законов, ни в одном государстве! Да как они смеют, Ихья делает для этой страны в сто раз больше, чем вся их марокканская хамула, а сынок лавочника кричит Ронену «вонючий араб», и воспитательница не может приструнить. Мы уедем отсюда, мама, еще немного, в Париж или в Эмираты, у Ихьи там родственники, я не могу больше, душно, тяжело дышать, давит...

Он вернулся к телу. Проникать хотелось и не хотелось одновременно. Словно расчесанный до крови, но всё еще зудящий комариный укус. Лев представил, как завтра его будут мыть; не опасаясь порезов, брить отвердевшие щеки и подбородок, выдавливать нечистоты. Как будет идти, набирая силу, тот тихий процесс, начало которого он уже ощутил, как слепые свидетели его бессилия вопьются в глаза, заползут в уши, пробуравят безмолвные губы. Он рванулся наружу, туда, где за стеной больницы шумели деревья, осыпанные красными цветами, но не сумел. Мир сжался, и от его былого величия и многомерности Льву остались только квартира и мрак холодильной камеры.

– Ликочка, – Тося перестала раскачиваться, – а как же я, папа. Ведь нас не пустят в эти Эмираты, да папа и не захочет...

Она осеклась, клацнув зубами, и, сгорбившись, облокотилась на мохнатый подлокотник дивана.

– Куда ты, зачем? Неужели здесь так плохо?

– Плохо, мама. Совсем плохо. Наверное, только в России было хуже. А здесь море, апельсины, цветы – круглый год на даче. Вы ведь всё получили в долг, под меня, под мое будущее. И я платила, пока хватало сил.

Тося не ответила. На какую-то долю секунды ей почудилось, будто Лев сидит в своем кресле и слушает их разговор.

– Ну что ты молчишь, словно знаешь все секреты моей жизни?

– Да, Ликочка, я знаю про тебя всё. От первого подергивания ножкой до причин этой злости. Не страна забрала у нас папу, а стечение обстоятельств, случай. Но если тебе так легче, пусть будет по-твоему.

– Легче, – хрипло рассмеялась Лика, – как вы умеете всё вывернуть наизнанку, найти самое дурацкое объяснение и назвать его психологией. Когда меня перед каждым увольнением сержант насиловал прямо на столе в каптерке, папа говорил, что я переутомилась.

Тося молчала.

– Он проверял казарму и нашел марихуану в моей тумбочке. Пообещал замять... Если б не Ихья, я бы покончила с собой или начала колоться, как Симха.

Лика прижала руки к груди, но рыдание прорвалось, выскочило из горла, неожиданное, будто отрыжка.

– Он еврей, твой внук, стопроцентный еврей, и нет в нем ни бедуинской, ни арабской крови. Ихья опоздал, понимаешь, просто опоздал на пару недель...

Лев повернулся к окну. Прозрачная глубина стекла стала матовой, словно его облили снаружи толстым слоем сгущенного молока. Он угадывал медленный сдвиг густой массы, ее важное, неторопливое оседание на стену соседнего дома, острую зелень кустарника, последние сполохи заката в правом углу. Он не видел, а вспоминал цвета, звуки, запахи, матовая поверхность наполнялась движением, перекрытый ею мир возникал вновь, пусть лишь в его воображении, но такой же явный и терпкий, как тот, что в самом деле простирался за слоем сгущенного молока. Он попытался определить словами, установить название этой беспощадно сползающей краски, но, прежде чем успел вспомнить или понять, губы сами собой произнесли, обозначили его – неторопливый, уверенный цвет смерти.

Они снова обнялись и плакали, плакали вместе, но каждая о своем. Лика опомнилась первой.

– Мама, – в голосе, промытом слезами, не осталось даже тени хрипоты. – Он уверен, что это его сын. Поклянись мне, сейчас, в день папиной смерти, никогда, никому, ни при каких обстоятельствах...

– Клянусь, – еле слышно ответила Тося.

* * *

Утро похорон выдалось ярким, робкие облачка без всякой надежды проплывали по самому краю небосвода. Минибус «Хевра-Кадиша» с телом Льва Каплуна потихоньку пробирался через пробки промышленной зоны. На старом кладбище уже не хоронили, а до нового, расположенного за городом, приходилось ползти сквозь светофоры и завихрения рабочей окраины. Впрочем, пробки только радовали Каплуна, наверное, в первый раз за всё время, потраченное на это бесполезное, унижающее топтание.

Из окна открывались просторы захламленных дворов, манящие глубины, ускользающие в проходы между сараями и грудами разнообразного хлама.

Стопки ржавого железа, остовы автомобилей, бочки, выстроенные по ранжиру и сваленные в беспорядке, темные пространства мастерских с угрожающим движением промасленного воздуха, всполохи и треск электросварки.

Над дешевыми придорожными закусочными поднимались синие клубы дыма, запах жареного мяса пробивался даже через закрытые окна похоронного автобуса. У Льва засосало под ложечкой, он с удивлением понял, что безумно голоден. Еще бы, с момента смерти прошли уже сутки, а у него и росинки во рту не было.

Он посмотрел на свой рот, под черным, неопрятного вида покрывалом, и усмехнулся:

– Бывали дни веселые...

Впрочем, смешного тут было мало, есть хотелось по-настоящему. Еще более изумляясь, он ощутил знакомое давление в кишечнике, короткие толчки, предвещающие освобождение. Он любил этот процесс: томящее напряжение, упругие пузырьки, прокладывающие путь главной массе, согласное сокращение мышц, покой расслабления и чистоты. О вечности, неизбежном суде и холоде могилы думать совсем не хотелось, даже живописная сумятица крыш Бней-Брака, сменившая хаос промзоны, не привлекала его внимания. Он хотел есть и пить, даже желание, давно упорхнувшая из его клетки птичка, вдруг накатило, взбудоражило, словно в далекой юности, когда Тося, смеясь, запиралась в Ликиной комнате, а он умоляюще скребся под дверью. Теперь это стало невозможным, невыполнимым, немыслимым, но тело и при жизни не спрашивало его согласия, верша пир по собственному усмотрению.

Сейчас, утратив власть, потеряв возможность подкармливать его, или, насупившись, заворачивать кран почти до упора – он никогда не поступал так, первым бросаясь

навстречу, но рукоятка лежала всё-таки в его руке, и оно, ненасытное, хорошо знало это, – так вот сейчас он превратился в игрушку, в место пребывания, в беспомощную арену, усыпанную опилками перетертых страстей.

Время тянулось, как хорошо разжеванная резинка, и с той же силой, с которой прежде он боялся и избегал мыслей о конце, Лев ждал его, нетерпеливо определяя, сколько осталось до кладбища. Он рассчитывал на умиротворяющий холод могильной земли – о, уж с ним не поспоришь, он всех расставит по местам, приведет в чувство, призовет к порядку. Где это видано – умирать после смерти от жажды, что за нелепость, неслыханный, сатанинский фарс!

Автобус остановился. Тело Льва Каплуна, холодное, промороженное тело, извлекли из машины и уложили на шершавую поверхность гранитного стола. Без всякого интереса он наблюдал, как укорачивают ногти, стригут волосы, избавляют от нечистот. Его интересовало только одно – время; он не понимал, как держат на работе таких бездельников и кто обучил их передвигаться с такой злонамеренной неспешностью и прохладцей.

Когда тело принялись окатывать водой, Лев зажмурился и нырнул внутрь. Горло горело, язык разбух и заполнил гортань. Он попытался ощутить губами прохладные струйки, но не смог, опять не смог. Вода лилась в полуоткрытый рот, не принося облегчения.

Тогда он заплакал, впервые за последние пятьдесят лет, навзрыд, как ребенок, поставленный в угол, захлебываясь от бессилия, отчаяния и жажды.

Похороны были назначены на двенадцать, но первые гости появились у ограды кладбища сразу после одиннадцати. Площадка перед воротами быстро заполнилась, один автобус пришел из больницы, во втором приехали преподаватели и студенты. Стоянка для машин почему-то оказалась метров за сто от ворот, гости парковались вдоль кладбищенской ограды и гуськом брели к входу, щурясь от полуденного солнца. Разговаривать не хотелось, обменявшись «вот только так и встречаемся» или «снаряды падают всё ближе», закуривали, долго молчали с сурово насупленными лицами и снова закуривали. Горячий воздух, словно дыхание, дрожал над раскаленными могильными плитами. Укрывшись в короткой тени памятника, пыльная кладбищенская кошка облизывала новорожденных котят.

Без десяти двенадцать появилась машина с номерным знаком ЦАГАЛа1 – Ихья привез Тосю и Лику. Машина медленно прокатила мимо стоянки и въехала за ограду. Из дверей покойницкой вышел человек в черном и негодующе замахал рукой.

– Это жена и дочь, – крикнул Ихья.

Человек в черном снова взмахнул рукой, на этот раз приглашающе. Он даже как будто улыбнулся, не раздвигая губ, чуть наморщив кожу лба. Так приветствуют соседей и товарищей по работе, спокойной улыбкой причастности.

– Надо идти опознать тело, – сказал Ихья. – Кто пойдет?

– Еще минуту, – попросила Тося.

– Мама, – Лика заговорила по-русски, – помнишь, как в третьем классе я вернулась в слезах с шахматного турнира? Помнишь?

Ихья заглушил мотор. Ветер тихонько перекатывал песчинки по крыше машины. Тося молчала.

– Весь вечер я просидела без света в своей комнате. Единственный, кто мог объяснить причину моего поражения, был папа, но он не шел и не шел. Мне часто кажется, будто я до сих пор сижу в своей комнате и жду – жду папу, жду объяснения...

– Пора, – Ихья выпрыгнул из машины и открыл дверь перед Тосей. – Пора идти.

Через несколько минут Тося вернулась.

– Я не могу его узнать.

Человек в черном строго посмотрел на Лику и переспросил:

– Дочь, вы дочь?

– Да.

Он отвернул покрывало. Приоткрытый рот, заполненный ватой, желтая, будто пересушенная кожа, невыбритые седые волоски в складках подбородка.

– Это он.

Тося протянула руку и осторожно погладила Льва по щеке.

– Левушка, какой ты холодный!

Человек опустил покрывало, вытащил из кармана длиннополого пиджака пачку документов и принялся что-то объяснять Тосе. Она согласно кивала, подписываясь в помеченных местах, складывала документы, снова кивала, теперь уже Лике. В ее руке оказался стакан с водой, она пила, по-прежнему кивая, не в силах оторвать глаз от продолговатого свертка там, в углу комнаты, на носилках из жести, с желтыми деревянными рукоятками.

К первому погребальщику присоединился еще один, в резиновых сапогах, перепачканных красной землей. Он вытащил каталку с телом из домика и медленно двинулся к навесу возле ворот.

Первый шел сбоку, неспешно проталкивая слова сквозь нависающие надо ртом усы. Слова путались, цепляясь за жесткие рыжие волосы, наседали друг на дружку, распадались. Наверное, по ту сторону усов они обладали смыслом и назначением, но слушателям доставалась лишь тарабарщина с ашкеназским произношением.

Каталку завезли под навес.

– Прощальное слово, – объявил погребальщик в резиновых сапогах.

Стало тихо. За оградой водитель автобуса переговаривался с диспетчером по радиотелефону.

– Уже вынесли, – сообщал он, – народу так себе, еще полчаса – и поедем обратно.

Черный строго посмотрел на собравшихся. Говорить никто не собирался.

– Вдумайся в три вещи, – вдруг совершенно четко произнес черный, – и никогда не согрешишь. Знай, из чего произошел, куда идешь и перед кем придется держать ответ.

Погребальщик в сапогах приналег на каталку и осторожно вывез ее из-под навеса. Широкая асфальтовая полоса влажно блестела под солнцем. Черный опять пристроился сбоку, заскрипели колеса, и Лев Каплун двинулся в последний путь.

– Из чего ты произошел? Из зловонной капли, – продолжал черный. – Куда идешь? Туда, где прах и черви. Перед кем будешь держать ответ? Перед Царем Царей, Святым, да будет Он благословен.

Голос надломился, стих, потом вновь обрел силу, но слова запутались, задрожали, посыпались вперемешку и невпопад.

Провожающие нестройно тянулись вслед за носилками, Лика и Тося оказались во главе процессии. Шли медленно, мимо белых и черных надгробий на красной комковатой земле. Ни трава, ни деревья еще не успели зацепиться, пустить корни в жирную глубину. Редкие воробьи, поджимая ноги, скакали по нагретому мрамору.

Дорога пошла в гору. Погребальщик в сапогах оглянулся, как бы приглашая помочь, но охотников не нашлось. Тогда он пригнул голову и, набычившись, увеличил скорость.

У раскрытой ямы, равнодушно опираясь на лопату, стоял могильщик. Втроем они споро, отработанными движениями наклонили носилки, и тело Льва Каплуна скользнуло вниз, в прохладу и сырость. Могильщик придержал его за плечи, ловко подхватил и осторожно опустил на дно. Черный подал сверху серые бетонные плитки, могильщик уложил их на заранее приготовленные опоры и, выбравшись из ямы, принялся сбрасывать вниз землю. В три лопаты они управились за несколько минут.

Облегчение не наступило. Оно и не могло наступить, Лев теперь знал это, как знал и понимал многое другое, прежде сокрытое, казавшееся таинственным и тайным, а теперь явным и простым, как груда красной земли на его могиле. Знание мешало и жгло, он и представить не мог, что правда окажется такой болезненной, раскаленной и горькой. Она прожигала его жизнь сверху донизу, наворачивала на свои спицы мысли, поступки, слова и чувства, и некуда было скрыться, пригнуть голову, отложить на завтра, потому что завтра уже наступило, бесконечное, нескончаемое завтра, заполненное до самых краев жгучим стыдом знания. О, попади он сейчас в начало, туда, где нити еще не успели связаться в узелки, он бы не дал им переплестись так безнадежно, как закрутилось и повелось, ах, если б попробовать еще раз! Лев понимал, что невозможно и даже кощунственно просить о том, чем пренебрег, испоганил и пустил на распыл, но всё же взвыл, взмолился плачем великим и горьким, без надежд, без упования, одной только страстью раскаяния и боли. Он выл, вложив в этот вой все несчастья свои и все неудачи, о чем мечтал и даже не смел мечтать, и вопль его поднимался, словно смерч, черным, дымящимся столпом до самого синего неба.

Он еще выл, сжимая зубы так, словно хотел растереть их в порошок, белую, хрусткую пыль, с серебряными крапинками пломб, как мир вокруг поплыл и закачался, меняя цвета, сдвигая формы, переставляя акценты и ударения. Вой тоже изменился, обратившись в писк, тонкий носовой писк, жалобный и протяжный. Он вдруг увидел мир снизу, почти с самой поверхности земли, вновь ощутил запахи, почувствовал зуд и жжение в кончиках растопыренных лап и голод, всепоглощающий голод, рвущийся из глубины дрожащего тела. Он был уже не Лев, он еще не знал, кто он, но это было не главным, главное состояло в том, что он снова был, игра продолжалась, пир жизни опять простирался перед ненасытными порывами его чувств. Последним движением угасающего сознания Лев понял, что мать рядом, и с писком облегчения ткнулся мордочкой в ее прохладные соски.

Солнце перевалило через зенит и осветило кошку. Это ей не понравилось; осторожно хватая зубами котят, она принялась таскать их через дорогу, в густую тень от высокой плиты с женским профилем на отполированной черной поверхности. Ненасытного сосуна, с белым пятном между ушей, она оставила напоследок. Он пытался сосать камни, комья земли, основание памятника и, не находя молока, обиженно пищал. Кошка ухватила его покрепче и побежала через дорогу.

Машина выскочила из-за поворота совершенно неожиданно – машины здесь не ходили, лишь иногда прокатывали коляску с мертвым человеком, а другие, пока еще живые, медленно шли вслед за ней. Кошка увернулась от первого колеса, но второе, завершая поворот, сбило ее с ног. Ненасытный сосун с белым пятном между ушей даже не успел запищать – машина прошелестела дальше, оставив на земле серую лепешку с выдавленной красной начинкой.

Тосе стало дурно. Ихья затормозил, остановился. Она с трудом выбралась из машины и побрела назад. Лика нагнала ее, обняла, усадила на черное надгробие из полированного итальянского мрамора. Горячий ветерок шуршал лентами венков на свежей могиле неподалеку. Тося тихонько раскачивалась, не сводя глаз с бесстыдно развороченной, вывернутой наизнанку земли.

«Вот всё, что осталось. Ее партия кончилась, можно собирать ноты и отправляться домой».

Она вспомнила пустое кресло напротив мертвого телевизора и, несмотря на жару, зябко передернула плечами.

«Здесь и сейчас, только здесь и сейчас и ничего там, за пределами шахматной доски...»

Лика взяла ее за руку. Карандаш в нагрудном кармане джинсового комбинезона подрагивал в такт биению сердца.

– Дочка, – Тося сжала пальцы, – мы похоронили лучшего человека на свете. Лучшего, понимаешь, самого лучшего!

Лика согласно кивала головой. Крупные комки горячей земли трескались и рассыпались на рыжие зернышки. Синяя полоса моря угрожающе посверкивала на горизонте.

Ихья подогнал машину почти к самой могиле и осторожно усадил Тосю на заднее сиденье.

– Успокойтесь, – сказал он, помогая пристегнуть ремень, – самое страшное уже позади.

Б-же мой, как он ошибался!

---

* Фалафель – обжаренные в глубоком масле шарики из размолотого вместе со специями турецкого гороха. Популярное израильское блюдо. Знаки отличия на офицерских погонах, похожие на эти шарики, на армейском жаргоне называют «фалафелями».

ОСЕНЬЮ В БНЕЙ-БРАКЕ

Семеро покидают чертоги Царя ради сукко – Авраам, Ицхак, Яаков, Йосеф, Моше, Аарон и Давид.

Книга «Зогар»

В открытые окна синагоги порывами налетал прохладный ветер, наполненный запахами зелени, свежести и ароматом праздничных пирогов. Вобрав в себя благоухание мирта и эсрогов, он омывал молящихся, создавая ощущение покоя и цельности, когда мир и твое сердце звучат в унисон.

Суккос – время уюта и любви. Длинные молитвы, неспешный рокот древних рифм преображают самых непоседливых. Сквозь смятение, царящее в душе современного человека, начинает проступать доброта.

В этом году все для меня выглядело иначе. С завистью поглядывая на лучащиеся глаза соседей по синагоге, я прокручивал в голове логику одного талмудического спора, пытаясь нащупать его внутреннюю пружину. Но куда там! Ворота оставались закрытыми.

Со стороны представляется, будто главные вопросы Учения посвящены тайнам мироздания или именам ангелов. На самом деле нет ничего более каверзного, чем распутывание денежных проблем. Последнюю неделю перед праздником я просидел над

двумя листами Талмуда. Речь шла, казалось бы, всего лишь о разделе наследства. Но при этом – шесть детей от трех жен и внезапная смерть отца, забывшего составить завещание.

– Что же мы делим? – спрашивает один из комментаторов. – Наследство или память?

Давид появился в синагоге неожиданно. Тихонько вошел и сел в последнем ряду. Он не молился, просто сидел безмолвный, с длинным печальным лицом, усеянным мелкими веснушками. Его рыжая шевелюра полыхала в сумраке, словно костер в Лаг ба-омер.

Когда он вошел, сердце тихонько дрогнуло в моей груди, так же, как в нашу первую встречу...

Фирменный поезд «Литва» подходил к Москве. Повернувшись спиной к двери тамбура и прикрыв молитвенник полой пальто, я пытался отыскать в себе точку, из которой мир представал наполненным гармонией и смыслом. Это состояние нельзя описать словами, как невозможно объяснить слепому разницу между зеленым и голубым цветом. Не помню, как оно пришло ко мне. Знаю только, где и когда началось: полгода назад, возле могилы Гаона.

В Москве шел снег. Едва коснувшись асфальта, он превращался в грязную пену, леденящую ноги сквозь подошвы ботинок. Все куда-то спешили, бежали по улицам, озабоченные делами и насупленные от непогоды.

Большой зал синагоги был пуст; но через приоткрытую дверь, ведущую во внутренний дворик, доносился неясный шум голосов. Там стояла сукко, длинная будка, сколоченная из фанерных щитов, прикрытых сверху слоем еловых веток.

Засунув чемодан под скамейку, я присел у края стола. Судя по всему, мое появление прошло незамеченным.

– Присоединяйся, – вдруг произнес сидевший напротив молодой парень, рыжая борода которого, казалось, росла прямо из шапки.

Он подтолкнул ко мне свертки с едой.

– Меня зовут Давид.

Тук-тук – качнулся от сердца к горлу невидимый маятник. Тук-тук.

Из-за противоположного конца стола поднялся небритый мужчина. Его голову украшала огромная кепка «аэродром».

– Братья! – воскликнул «грузин». – В праздник не принято говорить о страданиях. Но как умолчать о муках, сравнимых лишь с мучениями Иова, как не поведать о боли, бередящей душу (он взглянул на часы) почти восемнадцать минут?!

Оратор сделал многозначительную паузу и обвел глазами притихший стол.

– Как! – не воскликнул, а вскричал «грузин». – Как можно обойтись в такой праздник без маленького «лехаима»?

Он вытащил из-за пазухи литровую бутылку водки.

– Поднимаю бокал за наших дорогих гостей, за Приглашенных!

Все облегченно заулыбались. Бутылка пошла по кругу, стремительно пустея. Давид перегнулся через стол и зашептал:

– Это грузинский еврей из Кутаиси, учится здесь на шойхета. Ты понял, о каких Приглашенных идет речь?

– Не очень, – честно признался я.

– Дело в том, что не все здесь те, за кого себя выдают.

– Стукачи... – я понимающе кивнул головой.

– Да нет, – поморщился Давид. – Каждый день в сукко приходит один из праотцев. Чаще всего он присутствует незримо, но иногда принимает вполне реальный облик.

– Ты уже видел одного из них?

– Увы... Но верю, что когда-нибудь это произойдет. Кроме того, их проявление в материальном облике – скорее всего легенда; такая же, как и муки Иова.

Заметив мое удивление, Давид улыбнулся.

– По одному из мнений, Иов не реальная личность, а персонаж книги, написанной Моисеем. Мало того что человек разорился, потерял детей и заболел проказой, так некоторые считают, будто он вообще не существовал.

После завтрака мы остались в сукко еще на «часик», посмотреть книгу Иова. Часиком дело не обошлось, разговор затянулся до темноты. Ночевать мы пошли к Давиду.

Перед рассветом, когда во влажной черноте окна начала проступать голубая изнанка, он вдруг умолк посреди фразы. Я смял поудобней подушку и прикрыл было глаза, но Давид вновь заговорил:

– Большинство наших проблем – всего лишь оптический обман, следствие неправильного угла зрения. Стоит взглянуть на них по-другому – и мир предстает совершенно иным...

Подойдя к окну, он резким движением распахнул раму.

– Смотри, смотри хорошенько.

Прямо перед собой, в маленьком садике у дома, я увидел дерево. Оно росло. Я видел, как шевелились, набухая, корни, втягивая воду всеми своими волосками, как каменели сучья и тянулись вверх ветви. Шелест листьев, многоликий, словно хор голосов, и бесконечный, будто еврейская история, опутал меня сотней невидимых нитей.

Утром я проснулся в совсем другом мире. Он вел со мной диалог игрой света в переплете окна, номером подошедшего троллейбуса, фразой на случайно распахнутой странице книги.

– Если ты не понял, хорош или плох твой поступок, – объяснял Давид, – гляди как следует по сторонам. К человеку все возвращается: каждое слово, мысль, действие. Творец посылает ему знаки, поддерживает, указывая дорогу. Только не давай себя сбить, верь не советам знакомых, а собственным глазам.

– Тебя привыкли воспринимать в определенной роли, – говорил он. – Если вдруг выпадаешь из привычного образа, окружающие станут навязывать его силой. Для выработки иммунитета я ходил в театр. Покупал билет в первом ряду партера и, когда занавес шел вверх, раскрывал над головой зонтик.

В результате я прожил у Давида две недели – весь свой отпуск.

Ночь в фирменном поезде «Литва» прошла для меня неспокойно. Пассажиры обсуждали покупки, сделанные в Москве, пили чай, стелили постели, укладывались. Я лежал на верхней полке без сна. Огни полустанков отражались в зеркале двери, высвечивая откинутую руку или одеяло, сползшее на пол. Потом вновь надолго устанавливалась темнота.

Утром, спустившись вниз, я обратился к попутчикам.

– Хочу попросить вас о небольшом одолжении. Я религиозный еврей, а сейчас настало время молитвы. Мне придется надеть специальную накидку и молитвенные ремешки. После того как вы закончите завтрак, я прошу у вас полчаса тишины.

Тишина наступила мгновенно. Быстро допив чай, соседи, с выражением почтения на лицах, вышли из купе. Спустя сорок минут один из них приоткрыл дверь и осторожно осведомился, можно ли взять новую пачку сигарет.

Соня ждала у справочного бюро. Я заметил ее издалека; знакомый беретик, все та же потертая кожаная сумка, свитер из серой шерсти. Она ткнулась холодным носом куда-то между бородой и шеей и привычным жестом взяла меня под руку.

Духовные переломы сближают дружные семьи еще больше, пораженные вирусом раздора – разъединяют окончательно. Возможно, со стороны мы с Соней выглядели хорошей парой; но разногласия, неизбежный спутник молодоженов, не растворились со временем. Будь у нас дети, все, наверное, сложилось бы по-иному.

Ее брови срастались, словно пытаясь создать хотя бы одну постоянную черту на беспрестанно меняющемся лице.

– Тире я предпочитаю двоеточие, – говорила Соня, расправляясь с ними маленьким никелированным рейсфедером.

Но почти незаметный след все-таки оставался. Когда в компании Соня, увлекшись разговором, как бы отделялась от меня, я искал глазами эту птичку, согревая взгляд на тени ее крыльев.

Волосы Соня туго стягивала, собирая их узлом немного выше затылка. В молодости они пахли клубникой, вспыхивая под солнцем неожиданными рыжими сполохами.

С наступлением темноты мы начинали собираться в гости. Каждый вечер, словно на работу, Соня отправлялась к одной из своих подруг. Повод для этого всегда находился. Я

ворчал, ныл, сопротивлялся и в конце концов перестал ее сопровождать. Но Соню это не остановило.

– Наверное, в прошлом воплощении я была кошкой, – в очередной раз сообщала она, уже стоя на пороге. – Мурр! Ты просто не представляешь, какая сила тащит меня из дому после захода солнца.

Главным предметом Сониных разговоров были сны. Она обсуждала их с утра до позднего вечера. Иногда беспокойные вздохи будили меня задолго до рассвета.

– Ну что с тобой, что? – спрашивал я, поглаживая ее дрожащие плечи. – Опять этот сон?

– Ты представляешь, мне снится, будто мы едем... Я сижу за рулем. Остается совсем немного, только миновать мост. Поворачиваюсь сказать тебе об этом, но рядом сидит другой, незнакомый. Горло сжимает от ужаса, я всматриваюсь и забываю про руль. Машина пробивает перила, и вдруг темнота, навсегда, навечно, и не простить, и не досказать...

Сюжеты других Сониных снов были менее драматичны. Иногда в них даже проскальзывали намеки на предстоящие события. Если они сбывались, Соня небрежно, но с плохо скрываемой радостью замечала:

– Тетю надо слушать, тетя знает...

Как программист, я привык рассчитывать любую ситуацию на много ходов вперед. Строить жизнь на основе смутных образов из сновидений жены становилось все трудней и трудней...

К моему увлечению религией Соня отнеслась необычайно ревниво; мир чудес, снов и пророчеств принадлежал исключительно ей. Она сердилась, если я называл ее Бат-Шевой, а разговоры о кабале, ангелах и будущем мире вызывали приступы раздражения.

Пытаясь изменить ситуацию, я предложил ей познакомиться с Давидом. Его цельность и спокойствие казались мне лучшими из доказательств. Но главное, втайне я рассчитывал на маленькое чудо, подобное тому, что случилось со мной.

Вместо недели Соня провела в Москве почти месяц. Я звонил каждый день, получая в награду полузабытые нотки нежности в ее голосе.

К справочному бюро она подошла улыбаясь и, когда я наклонился, чтобы подхватить чемоданчик, вдруг звонко чмокнула меня в кончик носа.

Влияния Давида хватило на две недели. Мы опять начали спорить, а потом просто ругаться по пустякам. Причиной для ссоры могли стать носки, забытые на диване, или неуклюжая шутка.

– Мне надоело твое бесконечное ожидание чуда, – жаловалась она, вдруг позабыв годы щебетаний о собственных полупророчествах.

– Я хочу жить здесь и сейчас, понимаешь, не завтра и не когда-нибудь, а здесь и сейчас.

Давид отказался обсуждать со мной эту тему.

– Страдания – это хороший знак, – сказал он. – Значит, с Неба не махнули на тебя рукой. А советы, да еще по телефону, совсем бесполезная штука. В семейных делах интонация важнее смысла слов. И, кроме того, главные вопросы своей жизни человек должен решать сам.

Когда мы вышли из Дворца Правосудия, она вдруг заплакала.

– Я никогда тебе этого не прощу, – быстро повторяла Соня. – До самой смерти буду помнить и не прощу, слышишь, не прощу, никогда, не надейся, до самой смерти, никогда...

Слезы капали с ресниц, катились по щекам, падали с кончика носа. Она сжимала в руке выписку из решения суда и поэтому вытирала их тыльной стороной ладони, отбрасывая в сторону, как ненужные, обидные доказательства слабости. Концы бумаги потемнели от слез и повисли жалкими хвостиками.

Через несколько недель, в очередной раз позвонив Давиду, я услышал ее голос.

– Что ты там делаешь? – произнесли мои губы, хотя ответ был очевиден.

– Местная я, – ответила Соня, – тутошняя, живу теперь здесь.

За окном накрапывал бойкий дождик литовского августа. Я долго ходил по улицам, не замечая мокрой одежды и светофоров. На одном из перекрестков меня остановил

милиционер и принялся что-то втолковывать укоризненным тоном. Потом, внезапно осекшись, предложил отвезти домой.

Очнулся я в парке под горой Гедиминаса. Солнце уже село, и туман, поднимаясь над Вильняле, постепенно окутывал деревья и скамейки вдоль центральной аллеи. Вдруг нестерпимо захотелось уехать далеко-далеко, к теплому морю, к людям, которые не только говорят на другом языке, но и живут по-другому...

Отъездная беготня потащила меня за собой, словно жестянку, привязанную к хвосту собаки. Закрутились, застучали колеса, ударили друг о друга зубья шестерен. Первый неровный звон ушиба о булыжник, за ним еще один и еще – да как пошло плясать, гудеть и переливаться, лишь успевай прикрывать пылающие уши.

Бечевка лопнула только в Вене. За окном съемной квартиры Сохнута частыми белыми точками висел снег, такой же, как по ту сторону границы. Паркет мягко потрескивал под ногами, осторожно звонили большие часы на стене. Каждая снежинка словно завершала предложение в бесконечном послании с неба.

На Соне я женился по любви и жил с ней в каком-то беспрестанном вихре эмоций и предчувствий. Теперь же романтическое отношение к браку мне казалось абсурдным. Единство сердец при ближайшем рассмотрении оборачивалось союзом потребителей; любить рыбу значило ее есть.

«На Святой земле все пойдет по-другому, – решил я. – Жену подберу не по запаху волос, а по убеждениям. И вообще, с этого момента моя жизнь будет опираться исключительно на Закон и Разум».

Из аэропорта я отправился в ешиву, рассчитывая провести в ней несколько месяцев. Но Учение захватило меня целиком.

Вскоре я познакомился с очаровательной англичанкой. Она приехала в Израиль полгода назад и тоже училась в Бней-Браке, на семинаре для религиозных девушек. Мы встретились два раза и через месяц поженились.

Поначалу ее английские привычки меня раздражали; вместо «ой» жена восклицала «ауч», а на завтрак готовила не яичницу, а кукурузные хлопья с молоком. Но спала она крепко и никогда не видела снов. За это я простил ей хлопья, постоянные разговоры по телефону и любовь к английской королеве. У нас уже четверо детей, и все идет как нельзя лучше. Соня полностью ушла из моей жизни, лишь иногда по утрам мне кажется, будто подушка жены, как прежде, пахнет клубникой. Но это, вне всякого сомнения, просто чепуха.

Незадолго до конца молитвы я подошел к Давиду и пригласил вместе позавтракать в большой сукко, построенной рядом с синагогой.

Сукко была полна тени, узорчатой и трепещущей на ветру. Листья эвкалипта шуршали по крыше, натягивались и хлопали полотняные стены. Мы уселись в конце стола, накрытого белой скатертью, и долго молчали, не зная, с чего начать разговор.

– Вы тоже в Бней-Браке? – наконец спросил я.

– Да, но совсем недавно.

Что-то в нем переменилось, особенно во взгляде. Словно кто-то другой, бесконечно более мудрый, рассматривал меня через глаза Давида.

После завтрака я спросил, почему он не молился. Вернее, не спросил, а только намеревался задать вопрос, но он остановил меня мягким движением руки.

– Последние годы я полностью посвятил Учению, – начал Давид. – Вставал после полуночи, когда духовное поле очищается от потоков эмоций, и до утра окунался в тайны скрытого Знания. Погружение в Слово – это наиболее увлекательное занятие на свете. Умеющему впустить его в себя не нужны путешествия. Я взбирался на вершины, от которых захватывало дух, я скользил по гладким склонам букв, опускаясь в бездны смысла.

Однажды, не удержавшись на выступе буквы «юд», я потерял равновесие и сорвался в пропасть. Ветер закружил меня, словно радуясь неожиданной добыче, но вдруг, брезгливо отпрянув, бросил прямо в середину горной речки. Ласковая поверхность воды оказалась сотканной из тысячи сверкающих иголок. Внезапно все остановилось.

Голос, невидимый, всепроникающий Голос спросил:

– Когда взыскать – Сейчас или После?

И тут я вспомнил о тебе, Ури. Сидит, оказывается, внутри нас такая коварная штука и запоминает каждый вздох, слово, мысль. И всегда она с нами, ее лишь и уносим за последнюю черту, в свое вечное наследие.

– Сейчас, – ответил я Голосу, – конечно, сейчас.

Аккуратным движением Давид отломил кусочек хлеба и положил в рот. Он проделал эту нехитрую операцию так сосредоточенно и осторожно, будто совершал ее первый раз в жизни.

«А ведь он пришел просить прощения, – сообразил я. – Мой мудрый наставник, человек, причинивший мне столько страданий, сидит напротив и просит прощения!

Что сказать, чем ответить на просьбу? Ведь не было дня, за все эти горькие годы, когда бы я не вспомнил его и Соню. Сначала с болью и жаждой мщения, потом с усталостью и болью. Сколько слез пролил, сколько слов, обидных и жестоких, похоронил в своей душе».

– Не бывает слез, пролитых напрасно, – вдруг сказал Давид.

Я вновь попытался заглянуть в его глаза, но он смотрел сквозь меня, словно видел за моей спиной нечто более интересное и важное.

«Не прощу, – подумал я. – Ведь ты все растоптал, от всего закрылся своим зонтиком, мастер красивых слов. Любовь и вера оказались для тебя просто персонажами мелодрамы. Нет, не прощу, умирать буду, а не прощу!»

– Мир и без того переполнен злобой людей, уверенных в своей правоте, – сказал Давид. – Самое большое чудо, которое может совершить человек, – это простить другого.

Он встал из-за стола.

– Мне пора. Желаю тебе удачи. И мудрости.

Я прочитал благословение и принялся собирать посуду. Странно: еда на тарелке Давида осталась нетронутой. Но ведь я собственными глазами видел, как он ел!

Жена и дети вышли меня встречать. Старший, с уморительно серьезным выражением лица, помогал толкать коляску. Близнецы, как обычно, носились друг за другом, испуская дикие вопли.

Увидев меня, они сразу притихли.

– Как прошла молитва? – спросила жена, забирая полиэтиленовый мешочек с остатками завтрака.

Я промолчал. Память – ведь это и есть наследство! Сам того не зная, Давид ответил на вопрос Талмуда. Пружина освободилась и, еще совсем теплая, затрепетала в моей ладони...

– Ури, – жена несколько раз повторила мое имя, – Ури, я должна тебе что-то сообщить про Бат-Шеву.

Тук-тук – качнулся маятник. Тук-тук.

– Знаешь этот мост, перед въездом в город? Она ехала вместе с мужем. У машины лопнуло колесо, они потеряли управление, заскользили, ограждение не выдержало удара... Их похоронили три месяца назад, здесь, в Бней-Браке.

Жена помолчала.

– Детей у них нет, а завещание составлено на твое имя. Поверенный звонил уже два раза.

ПОЛДЕНЬ

Холодная вода плыла по желтым плитам кладбища кабалистов. Струйки дождя клевали спины зонтов и, рассыпаясь на капли, стекали в ботинки. Задирая ноги, туристы бродили по Цфату, словно голодные цапли. В гостиницах свободных мест не было.

Дан вернулся на автобусную станцию. Длинный перечень городов на щите расписания успокоил его. Затеряться среди топота и шума, пропасть в гуще незнакомых лиц. К черту пальмы у окна и приветливых деревенских котов под кустами бугенвиллии!

Автобус на Рош-Пину отходил через четыре минуты. Сам не зная зачем, Дан купил билет, забрался на последнее сиденье и опустил штору. Рош-Пина... Дыра, каких поискать. Куда там спрячешься среди двадцати жителей и пяти коров?

Автобус поплыл, закачался на поворотах горной дороги. Тучи остались наверху, вечернее солнце забегало то с одной, то с другой стороны, пока не пристроилось в заднем окне.

Сумерки сочились из горных расщелин, причудливые тени вставали навстречу автобусу. Они походили то на распластанных по земле великанов, то на трепещущие крылья гигантских птиц. В суете темноты и света Дан искал знак, подсказку или хотя бы намек. Решение бродило рядом, и это предчувствие, беспощадное, как судорога, вело его за собой.

Он поднял штору. Идущие навстречу автомобили включили фары.

«Если мир, – думал Дан, – сплошная единая гармония, то в каждой пылинке можно отыскать ответ на любой вопрос. Нужно лишь научиться смотреть, и ответ придет сам собой».

В Рош-Пине было темно и тихо. Дан постучал в первую дверь и спросил комнату. Ему объяснили, сложно и замысловато, хотя дом, как оказалось, находился за поворотом.

Он разложил вещи, откинулся на подушку и сразу заснул, иногда вздрагивая, словно от укусов комара. Забытое радио тихонько наигрывало бодрые марши.

Дождь шел всю ночь. Под фонарем у калитки ветер кружил палую листву, и дрожащие тени танцевали по лицу Дана.

Он проснулся перед рассветом. В глубине дома чуть слышно капала вода, теплая темнота лежала на постели. Он включил настольную лампу, пригнув абажур на гибкой ножке почти вплотную к желтой полированной столешнице. Премьер-министр грустно смотрел с фотографии, в полутьме его лицо казалось почти симпатичным. Дан подмигнул премьеру и отодвинул фотографию.

Он завтракал на веранде. Дождь кончился, от ноздреватых камней на склоне горы поднимался пар. Дан гладил пальцами бока чайника, жар нагретого фаянса всасывался в ладони, проникая до самой сердцевины рук, до розовой, трубчатой темноты костей.

Белый кот играл в подсыхающей траве. Кот изображал охоту: осторожно подкрадывался, замирал с поднятой лапой, словно боясь спугнуть дичь, потом прыгал, распушив хвост, на

безобидную щепку и, празднуя победу, рычал торжествующе и злорадно. Заметив Дана, он растопырил усы, взбежал на веранду и замурлыкал елейным голоском. Дан кинул ему здоровенный ломоть колбасы, кот на секунду остолбенел, не веря в удачу, но, опомнившись, подхватил колбасу и тут же исчез.

Хозяйка пришла за подносом. Сквозь волосы цвета старинного серебра просвечивала розовая кожа, длинная юбка полускрывала перепачканные землей кеды.

– Это всё дождь, – сказала она, заметив его взгляд. – Точит гору, а землю несет прямо в сад.

Ее руки, осыпанные брызгами старческих веснушек, были сноровисты и проворны.

– Да-да, – сказал он. – Конечно, во всем виноват дождь.

– Меня зовут Клара, – представилась хозяйка.

Дан не ответил.

Веселое солнце щекотало стволы теребинта. Пятна света медленно скользили по каменным плитам веранды, словно ленивые медузы. Дан вытащил из кармана куртки небольшую шкатулку и положил на стол. Резьба мягко струилась вдоль коричневой крышки. Углубления и выступы сплетались в сбивчивые, дрожащие линии, слезинки застывшего лака нависли в уголках. Неровный бег насечек и царапин напоминал зашифрованное послание, смутное, как глубина древесины. Безмолвный призыв, отчаянный и безнадежный, словно бутылка, брошенная с тонущего корабля.

Прерывистое дыхание стыда водило рукой резчика, скрывая мольбу о спасении в россыпи мурашек, оспин и закорючек.

Он больше не увидит отца. Никогда, даже в последнюю, страшную минуту перед погребением, когда зовут опознать и откидывают покрывало. И в этом ему отказали...

Сестра позвонила из Бней-Брака через день после похорон. Просила прощения, но отец давно так решил.

Он умер утром, вернувшись из синагоги. Наклонился за упавшей ложечкой, а разогнуться уже не смог. Дан точно представлял, как всё произошло, видел лицо с запавшими после ночи, проведенной над книгами, глазами. Они расстались тоже утром, десять лет назад.

– Г-сподь не допустит, – сказал отец, выслушав решение Дана. – Превратить нацию раввинов и кабалистов в скопище солдат, проституток и полуграмотных крестьян? Не допустит.

Ты хочешь быть с ними. Что ж, иди, расшибай голову. Но запомни, когда обман лопнет, чудовище начнет пожирать собственный хвост...

– Вы ведь отдыхать приехали? – утверждающе спросила хозяйка, вкатывая столик с обедом.

Дан поспешно убрал шкатулку со стола и постарался улыбнуться.

– Тут недалеко сад барона, – продолжила хозяйка, расставляя тарелки, – настоящий, столетний, не чета моим кустикам. Стоит посмотреть.

Дан промолчал.

Капли жира беспокойно кружили по поверхности супа. Одинокий стебелек укропа метался среди волн, горячие массы, убегая от холодных кромок тарелки, бросали его из конца в конец безжалостно, бесконечно, немилосердно...

Дан приподнял тарелку за край и осторожно качнул. Небольшое движение супа оказалось для стебелька катастрофой. Гигантская волна закрыла полнеба, глыбы цветной капусты, поднятые со дна, обхватили стебелек и уволокли вниз, в дымящуюся, густую глубину.

– Сад, – подумал Дан. – Прижаться спиной к толстой коре, слиться с неторопливым движением кроны и загудеть в унисон, всасывая живительную энергию, чудесную, незримую силу.

Он благодарно улыбнулся хозяйке, теперь уже искренне, не отводя глаза в сторону.

– В музей зайдите, – добавила она, – очень интересный музей. А про обед не беспокойтесь, ничего с ним не станет, с обедом. Нагуляете аппетит, я его опять разогрею...

Дан взглянул на часы, плоскую луковицу с двумя крышками.

Полдень. Он вышел на улицу. Рош-Пина казалась безлюдной, лохматая дворняга, развалившись, дремала прямо на булыжной мостовой.

Сад окружала ограда из старого пористого ракушечника. Лимонные бабочки грелись на замшелых камнях. Дан ходил по саду, приподнимая сломанной веткой листья папоротника. В их густой тени ещё сохранилась влага ночного дождя; продолговатые жучки с черными точками на красных спинках, быстро перебирая лапками, сновали между сверкающих капель.

Скамейка под кипарисом казалась совсем сухой. Дан присмотрелся: морщины деревянного сиденья подозрительно темнели. Он осторожно устроился на краешке и прижался плечом к стволу.

Крона глухо шуршала над головой, скрипели ветки, сипло, будто задыхаясь, ухали голуби. Ветерок, проплывая сквозь заросли бересклета, тихонько посвистывал. То была мелодия одиноких коричневых шмелей и мышиных хвостов, мелькающих среди палой листвы, грустная песнь заброшенных кротовых нор и сухих омертвевших колючек. Сад походил на музыку, которую можно было потрогать руками.

Дан прикоснулся к стволу кипариса. Из под лохмотьев коры выскочил муравей и, озадаченно поводя усиками, бросился наутек.

Экспонатами музея оказались фотографии.

Смотрительница, коренастая девушка в слишком узких джинсах, обрадовалась посетителю.

– Рош-Пина – самый красивый город Израиля, – начала она, едва успев ответить на приветствие, – а его история не менее прекрасна, чем окружающие нас Галилейские горы!

Дан любил музеи; через стекло витрин жизнь представала логичной и правильной, оставалось лишь удивляться несуразности людских поступков. Пояснения экскурсоводов он обычно пропускал мимо ушей, в истории его интересовали не факты, а вкус времени. Тени от магния на старых фотографиях, полустертое золото орденов – механизм истории лежал разобранным на составные части. Он представлялся Дану чем-то вроде гигантских часов: день и ночь, сцепившись, словно шестерни, перетирали время в бесцветную, невесомую пыль.

Иногда Дан замечал отсутствие главной пружины; досадуя на халатность составителей, он искал ее на соседних стендах, обращался к экскурсоводам. После переспрашиваний и уклончивых объяснений Дан понял, что дело не в лени или нерадивости музейных работников. Пружина отсутствовала в самой истории, в настоящей, всамделишной жизни. Раздосадованный, он подолгу простаивал перед стеклом, мысленно пристраивая пружину на свое место. Выход из трагических ситуаций почти всегда оказывался простым, а потому вдвойне обидным для незадачливого человечества.

Девушка-смотритель продолжала лопотать, нести свою сладкую чепуху, мешанину из брезентовых палаток первопроходцев и осушенных дунамов земли. Голосок то взмывал вверх, то ниспадал почти до трагического шепота.

«Курочка, курочка, – подумал Дан, – юный доверчивый цыпленок...»

Он отвернулся от фотографий и принялся рассматривать экскурсовода. Вблизи ее полнота не раздражала, в тугом валике под джинсами таилось что-то домашнее, уютное, как спящий котенок.

Девушка покраснела:

– Что вы меня так разглядываете? – спросила она, отступая на несколько шагов, – я еще не экспонат.

– А вы не родственница вон того, с лопатой? – Дан ткнул наугад в одну из фотографий. – Очень похожи.

Девушка ахнула.

– Вы знали, наверняка знали, кто-нибудь из наших успел рассказать.

– Честное слово, сам догадался.

– Это мой дедушка, лучший часовщик Галилеи.

Дан заглянул девушке в глаза. Блестящие аккуратные маслины, смесь недоверия и желания рассказать, выплеснуть, ведь такая история, настоящая, живая, терпкая, как же можно молчать?!

– Итак, это ваш дедушка... Но почему часовщик и с лопатой?

Она подвела его к большой фотографии старой Рош-Пины. Черепичные крыши; знакомый, совсем не изменившийся за восемьдесят лет скат Голанских высот.

Она осторожно прикоснулась указкой к трубе над одной из крыш.

– Видите этот дом на отшибе? Управляющий запретил деду строить в черте поселка. В те годы всем заправляли управляющие Ротшильда. Барон давал деньги на заселение Палестины, и каждый новоприбывший получал в его агентстве небольшую ссуду. Ссуду полагалось вернуть, но за всю историю поселенчества не нашлось никого, кто бы сделал это. Впрочем, барон и не ожидал возврата. Единственный, кого заставили отдать всё, до последней лиры, был мой дедушка.

«Наивный котенок, – подумал Дан, – как тебе хочется превратить семейное предание в настоящую историю».

– Меня зовут Дан, – представился он. – А вас...

– Дина.

Девушка ему нравилась всё больше и больше. Было в ней что-то электрическое, какой-то флюид, неизвестный науке вид энергии. И кожа на лице, гладкая, смуглая кожа, без грубых пор, прыщиков и темных точек, скользкая и прохладная, словно сирийский шелк.

– Неподалеку от Рош-Пины кочевало племя бедуинов. Они крали коров, травили посевы, вырывали саженцы деревьев. Тогда управляющий разрешил бедуинам пользоваться поселковым колодцем. Он думал, что за воду они прекратят воровать. Бедуины стали пригонять отары овец и вычерпывать воду до последней капли. Проходило полдня, пока колодец наполнялся вновь. Дедушка считал это несправедливым и написал письмо барону. Письмо из Рош-Пины не ушло – почтмейстер передал его управляющему, а тот обвинил деда в краже сельскохозяйственного инвентаря. Суд назначил ему три месяца исправительных работ. Как раз в это время приехал фотограф, снимать для газеты колодец и бедуинов. Дедушка собирал овечий помет на площади перед колодцем и попал в объектив.

На улице уже стемнело. Ночь навалилась внезапно, густая темнота поднялась выше самых высоких гор. Она пришла законным путем, вовремя и по праву, но в ее мрачном торжестве сквозила подлая несправедливость, словно кто-то бьет тебя по щекам и не велит плакать.

Развалины дома поросли дроком, ветки кустарника трепетали над остатками крыши. Старая Рош-Пина лежала в руинах, третье поколение поселенцев оставило неудобные домики на вершине горы и спустилось в долину. Кварталы вилл под крышами из красной марсельской черепицы обрамляли ровные ряды фонарей.

– Здесь родилась моя мать, – Дина погладила мокрые от росы камни. – Наша семья прожила в этом доме почти сорок лет, пока управляющий не выдал деда англичанам. Они приехали ночью, взвод британской полиции из Цфата, выломали двери, перебили посуду,

сорвали доски пола. Искали оружие, но кроме старой турецкой сабли на стене ничего не нашли. Деда арестовали и увезли в Цфат. Через неделю он умер от побоев.

Закричала ночная птица. Холодный омут тишины вздрогнул, из развалин выпорхнула летучая мышь и унеслась в темноту.

Хлопки ее крыльев напоминали жидкие аплодисменты родственников на провалившейся премьере. Синяя звезда сорвалась с неба и покатилась за Хермон.

– Ангел, – сказала Дина. – Вот бы узнать, куда он полетел и как его имя.

– Ангелы не любят фамильярности, – ответил Дан. – Они исполнят приказание того, кто назовет имя, но потом отомстят, ударят по слабому месту.

– Как интересно! – воскликнула Дина, беря его под руку. – Откуда вы это знаете?

– Учился в ешиве... Давно, когда был религиозным.

Рука оказалась горячей и твердой. Осторожно прижимая ее локтем, Дан понял, что влюбился, влип, попался по-юношески безрассудно и глупо. Внутри потекла томная сладость, древние, истертые слова зашевелились во рту, щекоча нёбо и язык. Прошедшая жизнь вдруг показалась ему безрассудным крушением духа, а то, что предстояло совершить – отвратительным и бесполезным предприятием. Уже запело, закружилось, понеслось на все лады и во все бубны, уже подступили к глазам предательские слезы умиления, когда Дан осторожно приподнял локоть.

– Как холодно, – сказал он, потирая ладони, словно стараясь согреться. – Давайте я провожу вас.

Булыжник стыло пощелкивал под ногами. Перед новой Рош-Пиной его сменил асфальт.

– Где вы остановились?

– У Клары.

Дина вздрогнула.

– Клара – дочь того самого управляющего. Странно, как всё пересеклось...

Кусты вдоль дороги шумели, будто актеры, позабывшие текст. Взошла луна, наложив друг на друга две одинокие тени.

– Бросить дом, – наконец произнес Дан, – это как вырубить сад или повесить собаку. Дома – будто деревья, пускают корни до самого сердца. А разве сердце можно переменить?

У калитки Дина снова взяла его под руку.

– Мой дорогой, – в ее голосе было больше материнской теплоты, чем волнения отвергнутой девушки, – не мучьте, не терзайте себя. И это пройдет, обещаю вам, и это тоже пройдет.

Дан шел домой через новую Рош-Пину, мимо глухих заборов из белого пластика и мусорных баков в специальных нишах. По его щекам катились слезы.

– Почему, – шептал он, – почему ты бежишь от нормальных человеческих чувств, спокойной, устроенной жизни? Только бездна влечет тебя, тобой же придуманный, несуществующий долг. А может, ты сам призываешь ее и сам ты бездна, а та, первая, бездна бродит вокруг тебя по хрупкому краю, по скользкой, оплывающей тропинке.

Жениться на Дине, поселиться здесь, на склоне Галилейских гор и жить, просто жить, без сутолоки и толчеи нерешенных проблем. Пусть другие заботятся о благе народа и государства, пекутся о судьбе нации. А он будет наблюдать, как тяжелеет фигура Дины, как растут дети, восходит солнце.

Дан запрокинул голову. Звезды мигали и плакали в черной высоте, свидетели и соучастники, верные далекие друзья.

«Кто плачет ночью, – вспомнил он, – звезды плачут вместе с ним».

На веранде горел свет. Хозяйка не спала.

– Будете ужинать?

Отложив книгу в старомодном матерчатом переплете, она легко поднялась из кресла-качалки.

– Нет-нет, уже поздно. А за музей спасибо, действительно очень интересно.

Дан помедлил.

– Вы совсем не похожи на отца, не то что Дина.

Клара улыбнулась.

– Фантазерка наша Дина, писательница. Придумывает истории и пробует на доверчивых туристах. Самые удачные записывает. У нее уже две книги так вышли.

Дан опустил руку на спинку стула.

– Зачем, зачем это ей?

Пальцы побелели от напряжения. Клара перестала улыбаться.

– Да вы не сердитесь, писатели, они же как малые дети. Игра для них важнее реальной жизни. В Рош-Пине уже никто не удивляется, знают, чего ожидать, вот она и пристает к туристам.

– Спокойной ночи.

Дан повернулся и ушел в свою комнату. Любимые книги ждали, уютно свернувшись на письменном столе. Дан посмотрел на часы. Полдень. Нет, полночь. Он приложил часы к уху. Они стояли. Дан открыл наугад первую попавшуюся книгу и принялся читать.

«Ешиботников подвели ко рву и выстроили в одну шеренгу.

Раввин попросил у офицера еще несколько минут. Офицер взглянул на часы, плоскую луковицу с двумя крышками, и согласился.

– Когда первосвященник резал жертву, – заговорил раввин простуженным голосом, – состояние его души приравнивалось к остроте ножа. Неуверенность или страх портили приношение, словно зазубренное лезвие. Сегодня мы восходим на алтарь, и от нас зависит, возродится ли после войны еврейский народ. Мы должны принести эту жертву в душевной чистоте и спокойствии, без отчаяния и мук, чтобы она была принята.

Раввин обошел шеренгу. Возле каждого он замирал на долю секунды и заглядывал в глаза. Дойдя до конца, он обернулся и произнес успокоенным голосом:

– Можете начинать».

Дан отложил книгу. Внутри было ясно и светло, будто зажгли десятки поминальных свечей.

«Жертва должна быть чистой, – повторял он, расхаживая по комнате, – а часы нужно чинить. Сколько бы это ни стоило, часы нужно чинить».

Он вышел на кухню и, стараясь не шуметь, тщательно вымыл руки. Вернувшись в комнату, сел за стол и решительным движением вытащил шкатулку.

Прошло несколько минут, тяжелых, словно старинные свинцовые пули. Шкатулка беспокойно блестела, тени от листьев продолжали свой танец на белом полотне подушки. Дан переложил книги на край стола и придвинул серебряный подсвечник к портрету премьер-министра.

В приоткрытое окно потянуло свежестью, беззвучно вспыхнула молния, раз, другой, мягкий раскат сотряс стекла. И стало так муторно, так невыносимо гадко и скверно на душе, будто тысячи кошек скребли и кусали ее невидимую плоть.

Дождь застучал, заколотил в окно. Его шум напоминал дробный перекат барабанных палочек, то ли зовущих к выносу знамени, то ли приглашающих на казнь.

Дан спрятал шкатулку в карман и выскочил из дома. Желтый круг настольной лампы страшил его, Дан бежал сквозь острые струи дождя, стараясь намокнуть и устать до такой степени, чтобы без страха вернуться в комнату, где посреди стола переливался и сиял серебряный подсвечник.

Холодные капли скользили по лицу Дана, он ловил их губами и целовал. Всего минуту назад там, в недоступной вышине, они щекотали крылья ангелов, а теперь, вливаясь в распахнутый рот, становились частью его тела.

– Дождь, – шептал он на бегу, – единственная живая ниточка, соедини, сплети меня с небом, дождь, дождь, дождь...

Он возвратился под утро, снял мокрую одежду и, старательно растеревшись полотенцем, рухнул в постель. Когда первая утренняя птица завела под окном свою побудку, Дан уже спал, укрывшись с головой одеялом, изредка вздрагивая, словно от комариных укусов.

Проснулся он поздно. На полу, под раскрытым окном, стояла лужа воды, горько пахнувшая осенью. Дан пообедал на веранде, наблюдая, как вершины гор плывут в тумане нагретого воздуха.

Вчерашний кот сидел на подсохшей спине камня и умывался. Дан позвал его, но кот только презрительно фыркнул. Дан бросил кусок колбасы, стараясь попасть поближе к камню. Кот спрыгнул в мокрую траву и ушел, брезгливо отряхивая лапы после каждого шага.

В три часа дня Дан принес из комнаты блокнот и написал стихотворение.

На террасе полуденной,

Там, где солнца плевки

Истекают слюной,

Безнадежно и пряно

Теребит ветерок

Теребинта витки,

На часах только полдень–

Умирать еще рано.

Посмотрел на календарь и поставил дату: «15 швата». Новый год деревьев, праздник обновления природы.

Перед закатом над Рош-Пиной проплыли розовые облака. Наполненные истомой и негой, они скрылись за склоном горы, и сразу наступила темнота. Дан посидел еще сорок минут, рассматривая дрожащие огоньки поселений на Голанских высотах. Его кибуца не было видно, отроги Хермона закрывали ряды аккуратных домиков под крышами из красной марсельской черепицы. Он сажал первые деревья, тоже в «Ту би-шват», как сегодня,

выравнивал землю под фундаменты домов, прокладывал дорогу. Их было тридцать поселенцев, пионеры, первое зернышко.

«Обман, всё обман, – думал он. – Лжецы: и те, кто посылал нас сюда десять лет назад, и те, кто сегодня решил вернуть эту землю». Но он не марионетка, не тряпичная кукла-замарашка. Он своими руками взорвет дом, спилит деревья. Сирийцы получат только развалины, вторую Кунейтру...

Стало холодно. Дан поднялся и вошел в комнату. Включил свет, достал документы и тщательно порвал их. Те, что не мог порвать, разрезал ножницами на полоски и утопил в унитазе. Потом долго мыл руки, брился, надевал чистую одежду. В семь часов вечера он уселся за стол, достал из шкатулки черную свечу и вставил в подсвечник. Свеча горела ровно и тихо, источая аромат, похожий на запах шафрана. Дан открыл книгу и произнес имя.

Премьер-министр закончил речь соленой шуткой. Женщины улыбались, прикрываясь от смущения программками съезда, мужчины открыто хохотали, любовно поглядывая на премьера. Он был свой, плоть от плоти, и говорил по-народному просто и откровенно.

Клакеры ударили в ладоши и зал подхватил, откликнулся нескончаемой овацией. Премьер аккуратно собрал бумаги в папку и направился к выходу. На лестнице, залитой желтым светом прожекторов, он вдруг охнул и, побледнев, ухватился за поручень.

– Что случилось, – подскочил референт, – что, что такое, что, что, что?

– Всё в порядке, – встряхнул головой премьер, – уже всё в порядке.

Он еще раз встряхнул головой, словно высвобождаясь из невидимой сети, и, отпустив поручень, двинулся дальше.

Под истерию предвыборной кампании сообщение о смерти неизвестного туриста прошло незаметно. Документов при нем не оказалось, отпечатки пальцев в уголовной картотеке не значились. Тело увезли в Цфат, в окружную больницу. Вскрытие показало смерть от обширного инфаркта, случай в таком возрасте маловероятный, но возможный. Полиция открыла дело чисто формально, поскольку дела, собственно, никакого не наблюдалось. Неизвестного похоронили на кладбище Цфата, неподалеку от надгробного памятника бывшего управляющего барона. Кроме могильщиков «Хевра-Кадиша», за носилками шла лишь смотрительница музея Рош-Пины. Поминальная свечка, зажженная ее рукой, горела на могиле двадцать девять дней, но и на это никто не обратил внимания. Свеча погасла только на тридцатый день, огонек дрогнул и пропал от легкого ветерка, похожего на дуновение крыльев пролетавшего мимо ангела.

СВЯТАЯ

Эстер повернула ручку таймера и проверила, зажглась ли красная лампочка. Зажглась. Когда она вернется через час, кугл будет готов.

Кугл, особенно иерусалимский, очень непростая штука. Казалось бы, что особенного – сладкая лапша с перцем, запеченная в духовке. А нет, тут миллион тонкостей и подводных камней. Пересидит в печке – станет сухой и ломкий. Рано вытащишь – будет мокрым, точно глина. Сахару много – есть никто не станет, скажут – опять пирожное приготовили. Перцу пересыплешь – начнут в кухню бегать, руки и глаза мыть.

Кугл она подает в третьем часу ночи, когда ученики начинают клевать носом. Горячий кофе или чай вместе с куглом быстро их пробуждает. Но глаза – глаза они всё равно трут, и если перца слишком много, тогда... А, да что там говорить, непростая это штука – иерусалимский кугл.

Перед выходом Эстер еще раз окинула взглядом кухню. Всё стоит на своих местах, что должно блестеть – блестит, термосы с чаем уже заварены, печенье разложено по тарелочкам и, прикрытое салфетками, ждет своего часа. Можно идти.

Можно, правда, и поехать, до миквы около четверти часа ходу по скудно освещенным реховотским улицам, а пакет с купальными принадлежностями увесист, оттягивает руку. Но лучше пешком. И так целый день на кухне или в комнатах, лишь иногда в магазин за покупками вырвешься. Но тут уж обязательно на машине. На пешие прогулки времени не остается. Вот хоть раз в месяц прогуляться вечерком в свое удовольствие.

Эстер захлопнула дверь и вошла в уютную темноту реховотской ночи. «В свое удовольствие», – повторила она последнюю фразу и вдруг горько расплакалась. Она шла по темной улице, обходя освещенные желтым светом фонарей участки тротуара, и плакала не останавливаясь. О своей жизни, об утраченных надеждах, об ушедшей молодости. Да мало ли о чем есть поплакать женщине перед миквой.

В школе ей нравился английский. Язык дался легко, Эстер быстро открыла для себя ряды библиотечных полок и с упоением погрузилась в сказки безбрежной английской литературы. Вопрос, куда пойти учиться, даже не возник, за два года до конца школы Эстер точно знала, что учиться она будет в Тель-Авивском университете, на кафедре английской литературы.

Так и получилось. Несколько лет прошли как радостный сон. До сих пор Эстер не может забыть то удивительное ощущение счастья, с которым по утрам она взлетала по ступенькам семьдесят четвертого автобуса, везущего ее в университет из Холона.

Самую удачную семинарскую работу она писала по «Дублинцам» Джойса. Перерыла всю критику, куда больше, чем полагалось. Не для работы, ей самой было интересно разобраться во всех мнениях, взглянуть на знакомый почти наизусть текст с разных точек зрения. Многозначительность стиля Джойса, его скрупулезность в подборе каждого слова, каждого эпитета и описания, открывали для комментаторов почти необозримые возможности, и Эстер с наслаждением провела несколько месяцев, сравнивая и перебирая.

Работу она написала за две недели. Ее темой было женское одиночество, вызванное закабалением прошлым. От Эвелин, только вступавшей на этот путь, до крохотной Марии, с ее длинным носом и длинным подбородком. Эстер пыталась понять логику самопожертвования Эвелин, не постигая, как можно подчинить свою жизнь словам, пусть даже важным и обязующим, но всего лишь словам.

– Твоя работа свидетельствует о глубоком понимании текста, – сказала руководительница. – Я внесла несколько поправок, но в целом тут нечего исправлять, акценты расставлены правильно. Тебе стоило бы продолжить учебу. Если хочешь, я могу дать рекомендацию в аспирантуру.

Но Эстер не согласилась. Впрочем, еще не Эстер. Тогда ее звали Ора. Диссертация предполагала много лет учебы, а ее родители с трудом вытянули университетский курс. Нужно было начинать работать и помогать им.

Очень быстро Ора выяснила, что годы счастливой учебы не дали ей никакой специальности. Да, она прекрасно знала английский, неплохо ориентировалась в литературе, могла разобрать любое произведение, отыскать критические статьи, понять замысел и показать, как этот замысел проявляется в тексте, но денег за это не платили. Деньги платили совсем за другое, чего Ора не умела делать.

Несколько раз она приходила по объявлениям в разные фирмы, которым требовалась секретарша со знанием английского. Но атмосфера, царящая на интервью, откровенные взгляды будущих начальников так не совпадали с ее представлением о работе, что она сбегала, еле дождавшись конца расспросов.

Через полгода Ора отправилась регистрироваться на биржу труда.

– Н-да, – чиновница сочувственно повертела в руках новенький диплом. – Совсем, говоришь, никак.

Она посидела еще с минуту, словно примеряясь, присматриваясь к Оре.

– Есть у меня предложение, хорошая работа, и денежная, нарасхват идет. Но придется опять учиться, и на английском. Ты вправду его хорошо знаешь?

Ора улыбнулась.

– Как иврит. А может, и лучше.

– Появилась новая специальность – компьютерная графика. Через две недели открывается первый курс. Ты, вообще-то, рисовать любишь?

Ора, подобно многим другим девочкам, покрывала свои школьные тетради изображениями принцесс в бальных платьях, смешных щенков с оттопыренными ушами и прекрасных принцев в золотых коронах. Поэтому на вопрос чиновницы она уверенно сказала – «да».

Так решилась ее судьба. Работа на компьютере оказалась похожей на игру, Ора благодаря знанию английского и привычке читать все материалы по изучаемому предмету проникла в самые недра программ. Закончив курс, она моментально устроилась на работу в книжное издательство. Платили хорошо, и условия тоже оказались весьма приличными. Она сидела в отдельной комнате с кондиционером, слушала музыку и рисовала – играла на компьютере. Иногда заигрывалась так, что не замечала конца рабочего дня и пересиживала по два-три часа сверх положенного времени.

Хозяин издательства быстро оценил прилежание и способности новой работницы. Ее зарплата постоянно росла, а мнение стало одним из определяющих. Перед тем как взять новый заказ, хозяин вызывал Ору к себе – посоветоваться.

Издательство выпускало календари, рекламные буклеты, афиши, проспекты, дела шли успешно, и одного графика стало не хватать. Приняли еще одного, и еще, Ора стала начальницей группы. Зарплата опять выросла, она купила машину и стала ездить к своему издательству в Южный Тель-Авив на новеньком, вишневого цвета, «Пежо».

Прошло несколько лет. Интересы Оры не изменились, она по-прежнему любила английскую литературу и компьютерную графику. Со временем музыка начала занимать в ее жизни всё больше и больше места. Увлекалась она вокалом, и в ее комнате целыми днями звучал контратенор, высокий мужской альт. Альфред Деллер – она знала наизусть каждую ноту на его кассетах. Пронзительный, на грани фальцета, голос уносил ее воображение в далекое прошлое, где среди яблоневых садов старой Англии бродят единороги, и прекрасные юноши поют дивные гимны еще более прекрасным девушкам.

Кроме работы и музыки иных занятий у Оры не было. Ее школьные подруги и университетские приятельницы выходили замуж, рожали детей, а она – она продолжала слушать музыку и рисовать. Понять эту загадочную предопределенность никто не мог: Ора была высокого роста, с крупными, но не грубыми чертами лица, спокойными серыми глазами, опушенными длинными ресницами. Волосы она носила до пояса, густые, с играющим каштановым блеском, талия была немного высоковатой, но внушительная грудь моментально переключала внимание на себя. В общем, среди знакомых Ора слыла если не красавицей, то, несомненно, весьма миловидной девушкой.

Тем не менее за многие годы с ней никто и ни разу не пытался познакомиться достаточно серьезно. Предложений хватало, но сквозь них так явно сквозило вожделение, что Ора немедленно пресекала эти попытки еще на самых дальних подступах. Ведь хотели не ее, Ору, а только ее тело.

Так она дожила до тридцати двух лет. Родители вышли на пенсию, профессиональное будущее дочери их больше не волновало. Главным предметом забот и разговоров стала несложившаяся личная жизнь умницы и красавицы Оры. С помощью тетушек, друзей и знакомых они насылали на нее толпы всевозможных женихов, но все, как один, испарялись после одной-двух встреч. Оре женихи казались суетливыми, одержимыми похотью существами, прикосновения их потных рук вызывали омерзение, а шутки казались пошлыми и примитивными.

Можно сказать, что Ора была вполне довольна своей судьбой. Она занималась тем, что ей нравилось, дни легко и привычно катились мимо. Сетования родителей и восторги подруг не вызывали в ее душе никакого отклика. Она не могла понять, почему возню с вечно орущими, дурно пахнущими младенцами называют счастьем. Обзавестись таким счастьем ей даже не приходило в голову.

Понятно, когда люди женятся и начинают жить вместе, то, как следствие, могут возникнуть подобного рода неприятности. В рамках брака с ними еще как-то можно примириться, но добровольно укладываться в одну постель с мужчиной ради малопонятных радостей и утех Оре совсем не хотелось.

Перелом в ее жизни наступил неожиданно. Впрочем, переломы потому так и называются, что возникают неожиданно, из-за куста, разграничивая жизнь на «до» и «после».

Ора ехала в Эйлат, три дня в хорошей гостинице за счет фирмы, подобного рода бонусы выпадали ей примерно два раза в год. В Эйлате она уезжала на коралловый риф, рядом с египетской границей и с утра до вечера читала, удобно расположившись в шезлонге под навесом из пальмовых листьев. На заигрывания мужчин, то и дело подсаживающихся к ее шезлонгу, она отвечала отрицательным покачиванием головы, а особенно непонятливым прямо объясняла, что не заинтересована в продолжении разговора.

Дорога предстояла длинная, около пяти часов за рулем. Ора всегда выбирала шоссе, ведущее через махтеш Рамон, чтобы полюбоваться гигантской «ступкой» из черно-коричневых скал, созданной природой посреди желтой пустыни Негева. Она припасла кассету клавира Баха, с быстрым, точно осенний дождь, Гульдом, клавесинные концерты Гайдна в торжественном, немного тягучем исполнении Пиннока и Пятую симфонию Малера с Барбиролли.

Но получилось иначе. На перекрестке перед Беер-Шевой к ее машине подошел юродивый в черной кипе. Из тех, что, безжалостно сотрясая пустые жестянки из-под колы с отрезанным верхом, выпрашивают копеечное подаяние у водителей. Она привычно опустила окно и вытащила мелочь, заготовленную для этой цели в кармашке приборной доски.

Ора всегда подавала нищим, тяжело собирающим гроши под палящим солнцем, посреди вони выхлопных газов. Но этот нищий не просил, а давал.

– А вот послушай, – сунул он в руку Оры магнитофонную кассету. – Послушай, послушай, максимум выкинешь, если не понравится.

Она хотела возразить, что не нуждается в дешевом промывании мозгов, но тут зажегся зеленый, машина впереди тронулась с места, и Ора покатила вслед за ней, сжимая в руке дурацкую кассету.

Поначалу она решила избавиться от нее на ближайшей бензоколонке и, еще сердясь на юродивого, небрежно бросила кассету в карман двери. Но потом, спустя сорок минут, когда дорога и Гайдн вернули ее в привычное состояние равновесия, ей показалось интересным послушать, о чем всё же идет речь.

Проповедник говорил с сильным йеменским акцентом, перемежая рассуждения о душе, вечности и смысле жизни, вывернутыми наизнанку расхожими анекдотами в народном стиле. Ора слушала его с ироничной улыбкой, и вдруг слезы сами собой полились из ее глаз, полились с такой силой, что ей пришлось остановить машину.

Слезы застали ее у подножия горы, на вершине которой желтел набатейский город, давно покинутые развалины. Люди ушли отсюда много веков назад. По камням, медленно разъедаемым горячими ветрами пустыни, бегали только ящерицы и шакалы.

Вот так и ее жизнь, что останется после нее, буклеты, рекламные проспекты? На что ушли лучшие годы, молодые силы, свежая голова? Неужели ради этого она появилась на свет?

Эти мысли и раньше приходили Оре в голову, но она привычно отводила их в сторону, переключаясь на что-нибудь, необходимое в тот момент. Сейчас же, посреди пустыни, наедине с самой собой, она не смогла или не захотела отвести глаза.

Негодяй проповедник! Ора с раздражением надавила клавишу, выхватила кассету из магнитофона и, приоткрыв дверь, швырнула в сторону. Кассета ударилась о придорожный камень и раскололась на части. Горячий ветер тут же подхватил черную полосу магнитной ленты, и понес, разматывая и крутя в мини-смерчах, бегущих по бугристой поверхности пустыни.

До Эйлата она доехала, стараясь не думать об услышанном. Ловкие демагоги, они знают, как вывести человека из душевного равновесия. Она, Ора, порядочный, добросовестный человек, честно зарабатывает свой хлеб, не совершает подлостей, помогает родителям. Если бы все члены общества вели себя, подобно ей, мир выглядел бы совсем по-другому, и проповедникам в этом благополучном и правильном мире было бы нечего делать. Ей нечего стыдиться и не о чем сожалеть.

Жизнь снова покатилась по привычному распорядку: знакомая гостиница, ужин, вечерняя прогулка вдоль эйлатской набережной, огни, музыка, веселые лица на променаде, а чуть в стороне черные силуэты пальм на пустом пляже, уже прохладный песок и искрящаяся, плывущая, пляшущая поверхность моря. Сколько людей приходили к нему подобно ей, стояли на этом самом месте, прислушиваясь к шуму волн, думали о своем, волновались, беспокоились, верили, а потом сгинули навсегда, словно и не было их вовсе.

Утром на пляже она то и дело откладывала книгу, переводила взгляд на блестящую поверхность моря, на охряную, покрытую дымкой, горную гряду за Акабским заливом и думала. Впервые в жизни Ора не отталкивала от себя беспокойные мысли, а позволила им завладеть душой. Она прокручивала их так и эдак, примеряла и, отойдя в сторону, смотрела на себя саму. Затем снова подносила к глазам книгу и ныряла в мир придуманных чувств.

Весь второй день своего отпуска Ора пролежала в шезлонге, рассматривая залив. Ей почему-то казалось, что в природе кроется какая-то тайна, которую ей необходимо разгадать. Пока еще не понимая как и для чего, она изо всех сил пыталась запомнить полосу чернильно-черной глубокой воды за белыми, с тремя красными полосками, буйками фарватера, и лазоревые вкрапления шевелящегося сияния над коралловым

рифом. Поверхность воды покрывала частая рябь, с неожиданными гладкими полосами, там, где во фронте ветра просвистывала прореха.

Струящийся, прихотливо изломанный силуэт гор над Акабой. Утром их очертания смазаны волнами белесого тумана. Сквозь него небрежным наброском прочерчены силуэты горных хребтов.

Неспешно помахивая крыльями, низко над водой стелется чайка. Сторожко вращается радар патрульного катера, замершего у Табы, границы с Египтом. Горы на иорданской стороне выглядят далекими театральными декорациями: пунктирный ряд зубцов, провал голубеющего воздуха и сразу за ним еще один ряд, повыше, на фоне более высокой третьей гряды. Впадины и выступы потихоньку заливает сияние подступающей жары. Спустя час дымка исчезает, растворившись в невыносимо белом мареве эйлатского полудня.

Горы за египетской границей, освещенные низким утренним солнцем, темно-коричневые, с глубокими расселинами, залитыми влажной, бархатной тенью. Отроги палевого цвета сбегают к плоской, прохладной поверхности залива и сливаются с ним в голубом тумане нового дня.

Солнце поднимается выше, и постепенно проявляется из тумана хаотическое нагромождение выступов и впадин, пиков, провалов, вишневых проплешин иорданского хребта. Портальные краны акабского порта возникают над берегом, уродливым призраком индустрии на фоне девственно распахнутых ущелий.

Днем высоко стоящее солнце заливает горы желтым тягучим жаром, вода белеет, она уже не чернильная, а бирюзовая, с полосами аквамарина. Горы так раскалены, что на них больно смотреть. Падающий вертикально свет уплощил их, превратив в багровые жестяные треугольники. Еще немного, и они расплавятся, потекут в море, извергая фонтаны пара.

Солнце садится, возвращая горам рельеф и глубину. Вода в заливе снова темнеет, на ее фоне хорошо видны два грязно-серых купола доков иорданского порта. Утром они казались ослепительно белыми.

Возвращаются из Табы туристские кораблики, копии парусников восемнадцатого века. Паруса скатаны, кораблики устало тянутся моторным ходом. Доносящаяся с них музыка тоже звучит устало.